

Б И Б Л И О Т Е К А

ОГОНЁК

№ 7

1971



Яков ЦВЕТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
М О С К В А

ЧЕЛОВЕК ИЗ ГРЕНАДЫ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 7

Яков ЦВЕТОВ

ЧЕЛОВЕК ИЗ ГРЕНАДЫ

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1971

Яков ЦВЕТОВ

Яков Евсеевич Цветов родился на Украине, в Белой Церкви. Работал наборщиком в типографии, репортером в газете «Красный Николаев», ответственным секретарем газеты «Коллективист Очаковщины».

Начал печататься в 1925 году. Свои первые литературные шаги сделал в поэзии (сборник стихов «Жажда»), и они были тепло встречены С. А. Есениным.

Много лет Я. Цветов — очеркист газет «Комсомольская правда», «Социалистическое земледелие», «Известия», «Правда». Это дало ему возможность близко познакомиться с различными районами Советского Союза. Книжки его очерков о советских людях выходили и в социалистических странах, а также печатались там в газетах и журналах.

Окончил исторический факультет Московского государственного университета.

Широко известна книга Я. Цветова «Повесть о Кирилле Орловском» (1958 г.). Его роман «Птицы поют на рассвете» (1969 г.) посвящен мужеству советских патриотов, действовавших в глубоком тылу противника в годы Великой Отечественной войны.

Я. Цветов участвовал в освободительном походе в Западную Украину, в войне с белофиннами. С первых дней Великой Отечественной войны — военный корреспондент «Правды». Награжден орденом Боевого Красного Знамени и многими медалями.

Член КПСС с 1932 года.

ДОРОГА В ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ

Он сверился с компасом и картой: все так, шли как будто правильно, успокоился Кирилл.

Озеро осталось позади. Но еще долго, пока пробирались они жердняком, озеро блестело справа, матовое, словно молоком налитое. А потом совсем потемнело. Потом нежаркое солнце, выбившееся из большого, тоже матового, облака, снова обдало его светом, и тихая середина сверкнула было и погасла — они входили в зеленый и пахучий сумрак ельника.

Отсюда, если следовать карте, надо бы повернуть на олешник, вон он, но там по колено завязнешь в болоте, соображал Кирилл.

Командир десантного отряда, выбросившегося минувшей ночью в глубоком тылу противника, он поежился, вспомнил, как, крепко зажмурив глаза, оттолкнулся ногами от борта самолета и врезался в холодные и крутые валы ветра. Ветер неистово бурлил, хлестал в лицо, свободный, ничем не сдерживаемый, настоящий ветер, и он разомкнул веки. В глаза хлынула черная глубина, словно перед ним разверзлись самые недра ночи. Минувшая ночь с ее тревогой уже отодвинулась далеко. Самое страшное, оказывается, было вчера, когда они неслись над поздней Москвой, утонувшей в ледяном свете луны; и когда инструктор, прощально толкнув в плечо, оторвал их от самолета, за которым начиналась другая жизнь; и когда услышали пугающий шорох на земле...

Осадистый, крепкий, ему было под пятьдесят, он и не заметил, как постепенно в лоб врезались — от виска к виску — глубокие складки, придавшие лицу не то упрямое, не то сердитое выражение, как резкие рубцы легли в углах жестких губ, как прямые волосы, зачесанные назад, тронул спокойный мороз. «Чепуха! — отводил он эти приметы. — Чепуха!» И что седина, что морщины, если он по-прежнему полон надежд, полон предчувствия доброго будущего. Солдат — это не возраст, уверен он, это обязанность, быть может, самая трудная, самая большая из всех, которые ложатся мужчине на плечи.

— Смотри, Гриша, а?

Комиссар отряда Ивашкевич взглянул на карту. Ничего не сказал. Они продолжали двигаться в еловой тесноте.

Потрепанная крестьянская одежда, в которую переоделся Кирилл, пришлась ему впору, только шапка, кургузая, все время сползала на затылок.

— И потерять недолго,— в который раз сдвинул ее наперед.— Рукам работенка.

Ивашкевич бросил на Кирилла беглый взгляд, и на губах искрой мелькнула короткая усмешка: «Умеет же носить лохмотья...»

— Зато вид у тебя... Немец встретит, и тот пожалеет.— Ивашкевич поправил автомат на груди.

Немного позади, держа оружие наготове, тяжело и прочно ступал Паша, широкоскулый, смуглый, туго сбитый крепыш.

Вышли они в шесть утра на поиски подпольного обкома партии. Алеша Блинов, передав в Москву радиogramму, сообщавшую генералу и товарищу Кондратову местоположение отряда, накормил их супом и кашей из концентратов. Сейчас было уже около двенадцати.

— А знаешь, сосет под ложечкой,— признался Кирилл.— Пожалуй, пожуем?

— А как же! — подкинул Паша, и глаза его заблестели. Он торопливо шагнул и шел уже рядом с Кириллом и Ивашкевичем.

Ивашкевич достал из глубокого кармана ватных брюк пачку галет, надорвал упаковку, извлек три галеты, дал Кириллу, потом три Паше и себе вынул. Шли, ели.

Лес редел. Подошли к опушке.

Кирилл слегка раздвинул еловые ветви, выглянул. Большой луг. Видно, болотистый — осока, мелкий олешиник. Дорога и вела олешиником, потому и не пошли по ней, что болото, и повернули в ельник. Посреди луга стог. Стог не удивил — деревня же недалеко, показывала карта, километра два. Безмолвный, недвижимый луг полон первобытной тишины.

Никого.

Ветер перебежал через луг, оставив за собой чуть пригнутую отаву, влетел в лес и лег Кириллу под ноги.

Ивашкевич отошел от Кирилла, приблизился к высокой ели, слегка высунувшейся за опушку. Поодаль, тоже под елью, плашмя растянулся Паша, и густые широкие ветви прикрыли его. Высматривали, высматривали: вдруг хоть что-нибудь да выдаст чье-то присутствие на лугу.

Никого, никого.

Солнце остановилось в бледно-белом небе. Все тени убраны куда-то. Кирилл взглянул на часы: тринадцать. «Даже восемь

минут сверх». Терпение, терпение. Должен же кто-то появиться. Кирилл опустился на колени, раскидистые внизу елки разомкнулись и пропустили его голову, он старательно оглядывал пустынный луг. «А товарищ Кондратов сказал — к двенадцати. И на кой ляд пароль, если некому его сказать...» Может, не туда вышли?

«А вон что такое?..» — вдруг насторожился Кирилл. Он подал знак Ивашкевичу и Паше. Те повернули головы, куда указывал Кирилл. Из-за стога высунилось что-то похожее на деревянный хоботок и пошевеливалось в траве. Вот уползло, скрылось за стог. Опять высунилось, поерзало и снова скрылось. «Э, нет. Тут что-то есть...»

Потом у стога появился человек — худощавый, в картузе. Сутулясь, прихрамывая, обошел стог. «А! Деревяшка вместо ноги. Сидел, значит, за стогом, вытянув протез, конец его и виден был, — раздумывал Кирилл. — Посмотрим, дальше что...»

Человек опять сел, на этот раз лицом к опушке, привалился к стogu спиной. Вытащил из кармана флягу, приложил ко рту, развернул тряпицу. «Ест», — увидел Кирилл.

— Выхожу, — тихо сказал он.

Ивашкевич и Паша взяли автоматы наизготовку.

Кирилл шел прямо на человека с протезом. Тот, как бы не видя его, продолжал жевать.

— Ну, здорово, — остановился перед ним Кирилл.

— Здорово так здорово, — откликнулся человек с протезом.

Кирилл оглядел его. Рыхлое, белесое лицо, на котором все отчетливо видно, жидкая бородка вразброс, волосы, тоже редкие, рыжие, торчащие из-под картуза, нос в мелких оспинках, словно побит шашелем, и слегка свернут набок, глаза маленькие, пустые, и непонятно, куда они смотрят и смотрят ли вообще.

«Хрен какой-то», — пожал плечами Кирилл. Не тот, наверное, кого ждал.

Он присел рядом.

— Ну чего молчишь?

— А говорить чево? — Человек с протезом повернул к нему покривленный нос.

— А что толку сопеть в две дырки?

— А я тебя не звал, — озлились пустые маленькие глазки. — На вот... — ткнул в руки Кирилла флягу. — Хе-хе-хе... — залился неожиданным смехом.

«Что это он, ни с того ни с сего?» — покосился Кирилл. Он глотнул из фляги, поперхнулся. Крепкий самогон!

— А кто ты будешь? — искал он хоть какой-нибудь намек.

— А скажу — немец, поверишь? Так и спрашивать чево! —

почесал кривоносый под бородкой. Потом ослабил желтые зубы: — А ты кто?

— Я кто? — поддразнивая, прищурил Кирилл глаз. — Не пой-
мешь.

— Хе! Не пойму. Чево ж не понять? — И опять залился. —
Дурачок, думаешь?

— А ты как думаешь?

— А дурачок всегда думает, что вумный. Хе-хе-хе... — не уни-
мался кривоносый. — Хе-хе... — тряслись его плечи.

Лихим движением сбил картуз на затылок:

— А ты не поп?

— Узнал...

— А думаешь — дурачок! Я насквозь вижу. — Кривоносый
опять закатился хохотом, даже захрипел. Помотал, давясь сме-
хом, головой. — Врешь, не поп. Жулик.

— Ну, братец, на отгадку ты мастер.

— Ага. Меня не проведешь. Хе-хе... — не сдавался кривоно-
сый.

— Это у тебя где — на фронте отхватили? — кивнул Кирилл
на протез, стараясь перевести разговор на другое.

— Чево? На фронте? — Кривоносый даже удивился. — Нет. На
мельнице. Это у дураков на фронте отхватывают, — гнул он
свое. — У вумного не отхватят. Вумный увернется.

— Все у тебя, выходит, делится наполовину — на дураков и
на умных.

— А то нет? Только не на половину. Дураков больше. Хе-
хе... — снова затрясся в смехе кривоносый.

— Вон как! — присвистнул Кирилл.

Кириллу показалось, что у того в глазах мелькнула плутова-
тая искорка. «Прикидывается», — решил он.

— Эй ты, хе-хе! Ладно тебе. Брось это дело. Потолкуем да-
вай. А то и я начну «хе-хе», тогда меня не остановишь. Я ж
тоже в дурачка умею.

— Ну-у?

— А ты думал?

— Силен мужик, — с деланным восхищением протянул кри-
воносый. — Силен...

Он отнял у Кирилла флягу, отпил глоток, взял с тряпицы,
разложенной перед ним, кусок сала, по-крестьянски надрезан-
ный накрест, складным ножом отделил ломтик и лениво сунул
в рот. Потом откусил кусок хлеба. Жевал медленно и опять
пусто и отрешенно глядел перед собой. Кирилла словно и не бы-
ло рядом.

— А и я жрать хочу.

— А чево тебе? — уже покладисто отозвался кривоносый.

— Хлеба.
— Хе! Может, и сала?
— И сала.
— Вижу, соображаешь. Опосля, гляди, и закурить захочешь?
— Захочу. А есть табак?
— Да найдется в кисете.
— Видать, любит тебя твоя Матрена,— глазами показал Кирилл на снесь.

— Ага,— озорно подмигнул кривоносый.— Акулина.

Хлеб. Сало. Табак в кисете. Да самогон во фляге. Матрена-Акулина. Пароль и отзыв. «Кажется, порядок...»

Кривоносый уложил в тряпицу оставшийся кусок сала, недоеденный хлеб, заткнул пробкой флягу.

— Отсунемся, ну, да подымим.— Распластав в траве ладони, он оттолкнулся от стога, ноги протянулись вперед, еще раз напрыг ладони, ноги поползли дальше.

Кирилл тоже переместился вслед за ним. Кривоносый развязал кисет, оторвал от газеты полоску, насыпал в нее щепоть самосада, зеленоватого, крупного, провел по бумаге языком и склеил сигарку. Делал это медленно, обстоятельно, и Кирилл начал сердиться.

— Послушай, у тебя, видать, забот никаких?..

— Хе!..

Пошевелил протезом, достал из кармана кремень, кресало, нитяной фитиль, высек искру, дунул на трут, прижатый пальцем к кремню, еще раз чиркнул огнем о кремень и снова подул, теперь с большей силой, и слабая искорка заметалась на конце разлохмаченного трута. Кривоносый дул, пока фитиль не зарделся, и, заслонив его ладонью, прикурил.

— Бери, ну,— сунул кисет Кириллу.— Пали табак. Хоть какой, а табак. Дымишь когда, лучше думается..

— Ховай кисет и давай думать.

— Давай. Чего ж не думать,— согласился кривоносый.

— Ты не из той вон деревни? — В стороне виднелись крыши.— А?

— Ага.

— Дворов девять?

— Ага. Четырнадцать.

«Порядок, порядок». Цифра девять — тоже пароль, четырнадцать — отзыв.

Кривоносый окинул Кирилла шустрым взглядом. Глаза его уже не казались пустыми.

— Спрашивай, ну...

Кирилл словно камень сбросил с сердца. Он поднял руку, легко помахал ею. Опустил и снова помахал.

Ивашкевич и Паша вышли из леса. Кривоносый повернулся лицом к ним, посмотрел на вооруженных людей, посмотрел спокойно, так только, чтобы посмотреть.

— Мефодий,— равнодушно сказал, когда они приблизились.

— Мефодий? — невольно усмехнулся Ивашкевич: «Вот так да — собрались Кирилл и Мефодий...»

— А что? — свирепым глазом сверкнул на него кривоносый.— Мефодий,— повторил твердо, с достоинством. Он вскинул голову, и на плечах дернулась холщовая замызганная рубаха с залатанными локтями.

— Да не сердись,— миролюбиво сказал Ивашкевич.— Это я для верности переспросил.

— А ты для верности отойди малость. Понял, нет? Окосел, что ли, не видишь, дело с человеком толкую?

Помолчал. Должно быть, примерялся к разговору. Потом решительно кивнул Кириллу:

— Давай к делу.

По небу тянулась длинная тень. Она надвигалась из-за озера. Конец ее, совсем почерневший, обрывался над самой опушкой. «Дождь накроет»,— подумал Кирилл. Он придвинулся к кривоносому. Тот поднял с земли сенинку, сунул в губы.

— Так слушай...

— А нас тут не выследят? — жестом остановил его Кирилл.— В лес бы лучше?

— Вокруг болотá, понял, нет? Сюда и змея не приползет. Тут я хозяин,— уверенно сказал кривоносый и бросил взгляд на стог.— Так слушай, куда тебе дальше переть...

Предстояло добраться к леснику. Его изба в Медвежьем урочище. Пятнадцать километров отсюда. А уж лесник поведет куда надо, обещал кривоносый. Сам он, Мефодий, ничего не знает. Только то, как добраться к леснику.

— Как войдешь в лес,— показал на опушку,— и держись правой руки, никуда больше, только правой руки держись.— Потом стал объяснять, где повернуть, куда выйти, что приметить с правой руки, что — с левой, где не сбиться и где не перепутать тропки...— А выбредешь на дорогу, подайся в березы. Топко будет, не беда. Там с километр, не боле. А за березами на пригорке и увидишь избенку. Она и есть. Скажешь, Мефодий послал, и еще скажешь: сено стережет. Понял, нет? Сено стережет...

Кривоносый, уткнув руки в землю, трудно приподнялся, подобрал здоровую ногу, повернулся боком, оперся на деревяшку

и встал. Он вытер ладони о штаны, потом ладонями плотнее надвинул картуз на голову, и вихры рыжими сосульками пристали к вискам, ко лбу.

— Валяй. Тебе вправо, мне прямо.

И, не оглядываясь, припадая на протез, пошел навстречу двигавшимся тучам.

Искаженные сумерками, впереди уже виднелись померклые березы.

Быстро перешли старую просеку. Земля под ногами стала как бы оседающая, вязкая, цепкая, как тесто. «Топко будет с километр...» — помнил Кирилл слова кривоногого. Он осматривался. «И дрема же лесная!..» По всем признакам, начиналось Медвежье урочище.

«Попробуй найди тут лесную сторожку. Да еще вечером...» — уже тревожился Кирилл.

Передвигались молча.

Кирилл почувствовал на лице, на шее холодные мелкие капли. «Успеть бы добраться», — подумал он. Подумал почти равнодушно. Делая небо совсем черным, проступила на нем громоздкая туча и давила под собой все. Дождь тронулся сразу, частый и плотный.

Показался пригорок, издали действительно похожий на медведя, стоящего на четырех лапах, под дождем. Одинокую сторожку лесника, скрытую старыми елями, Кирилл заметил, когда по узкой, затравеневшей тропке подошел к самой двери.

Постучался. Дверь открылась не сразу.

В темном проеме стоял широкий пожилой мужчина с ружьем. Молча оглядел Кирилла и его спутников.

— Мефодий послал, — как можно дружелюбнее произнес Кирилл.

Тот, с ружьем, все еще молчал.

— Велел передать, что сено стерезет...

— Заходите, — откликнулся глухой голос.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ГРЕНАДЫ

Мимо окошечка землянки шло утро, серое, с ветром. Ветер был виден, он напускался на ели, и ели, словно стараясь убежать, торопливо перебирали лапами.

В землянку вошел Хусто Лопес.

— По вашему приказанию...

Спустя несколько минут дверь отворил Ивашкевич.

— Давай, давай,— поторапливал его Кирилл.— Дело есть.

— А у нас всегда дело,— довольно откликнулся Ивашкевич, присаживаясь. Записка, доставленная связным, лежала на столике, он прочитал ее.— Да,— протянул он.— «Голубой дивизии» в нашей зоне до сих пор не бывало. Не иначе наши поколотили где-то этих «голубых», и немцы распахали по госпиталям кого куда...

— Хорошо, что и нас не обошли,— сказал Кирилл.— Двинем и мы свою «голубую дивизию»,— посмотрел он на Хусто.

Хусто понял, что имел в виду командир: нужно выйти из леса и под видом тех испанцев открыто пошнырять по городу.

Но Кирилла занимало и другое. Неделю назад в ресторане «Шпрее» он услышал о каком-то испанце Фернандо Роблесе из гебитскомиссариата. Хусто должен выяснить, тот ли это Роблес, вместе с которым Кирилл и Хусто сражались в республиканской армии. Если б тот самый...

Отряд по заданию подпольного обкома партии должен взорвать здание гебитскомиссариата. Вместе с Ивашкевичем Кирилл обдумывал, как лучше сделать это.

— Эх, если б Роблес оказался тем самым Фернандо. Понимаешь, Хусто? Я хочу сказать — нашим...

Хусто пожал плечами. «Разве Фернандо не погиб?» Худой, молчаливый, стоял он перед Кириллом и Ивашкевичем, в больших и черных глазах его сквозила грусть.

— Так что? — взглянул Кирилл на Ивашкевича.

Ивашкевич смотрел перед собой, раздумывая.

— Ты что — против, комиссар? А пошлю. Все равно пошлю.

— Попросить у доктора Эрнста удостоверение, что Хусто выписан из госпиталя,— сказал Ивашкевич.— Тогда риск наполовину снят.

— Я тоже подумал об этом.

«Эрнст наш, он даст». Хороший человек, этот антифашист Эрнст! Кириллу вспомнилось, что у Хусто рубец на груди. Ранение в Каса-дель-Кампо...

— Не только удостоверение, но и форму обязательно,— предложил Ивашкевич.— Эрнст раздобудет в госпитале. По-немецки Хусто говорит плохо, но говорит.

— А испанцу лучше и не надо.

Кирилл медленно обошел вокруг стола и остановился перед Хусто.

— Дело опасное, сам понимаешь. Если это наш Фернандо, попробуй сговориться с ним. Он может нам здорово помочь.

Хусто улыбнулся. В нем пробудилась гордость — тут никто,

один он годится для этого опасного дела, так только что сказал командир.

— Да, камарада.

— Алезь подбросит тебя к городу. Наверно же, на этих днях повезет немцам мясо. С ним и двинешься. А там, братец, ориентируйся и действуй. Но помни: осторожность во всем. В каждом шаге, в каждом жесте. Особенно в риске. Все время, братец, помни об этом А возвращайся в Теплые Криницы, в хутора. Ночью. Мы связанного предупредим. Он и выведет тебя в лагерь.

— Только так, Хусто.— Ивашкевич посмотрел на него в упор.— Только так. Одно дело испанец среди немцев, другое — один в лесу. На память свою не полагайся и сам дорогу не ищи.

— Так что? — обнял Кирилл Хусто.— Ни пуха ни пера?

— Да, камарада.

Фернандо... Кириллу вспомнилось трудное-трудное время Испании.

Перед ним пустынная, желтая в пыли дорога, словно на ней отразилось знойное полуденное небо. По песчаным буграм, покрытым сухими кустами и поникшей, выгоревшей травой, дорога ведет в горы. Их шестеро в тылу фашистов. Хусто Лопес, подмастерье с Куатро-Каминос, Фернандо Роблес, он, Кирилл, и еще трое. Они идут давно, идут медленно, озираются. Местность становится совсем голой. Земля исчерчена узкими трещинами, будто молния пробежала по ней и оставила почерневший, зигзагами, след. Далеко впереди, как гигантские кльки, впившиеся в небо, громоздятся тяжелые остроконечные скалы. Оттуда, из-за гор, выкатывается облачко, круглое, как зонтик, и проплывает над дорогой, на несколько минут заслонив их, шестерых, от палящего солнца.

«Подождем,— говорит Кирилл. Кустарник не сохранил прохладу, в нем жарко и душно. Но он спрячет, не выдаст.— Подождем, пока день погаснет».

Сумерки на юге, в горах, наступают сразу. Похоже, солнце сожгло все: теперь во тьме проступают обугленные горы, роцицы, хижины; еще час назад они были бурыми, зелеными, белыми... Зной еще не улегся, воздух, как и днем, сух и неподвижен.

Одолев долгий и трудный подъем по голому, жаркому граниту, они оказываются среди зубчатых скал, словно в каменной пасти. Хусто ищет расщелину в отвесной скале, он должен ее найти, иначе слишком много времени понадобится, чтобы обогнуть эти глыбы. Вот и расщелина, она ведет в самое чрево

горы. Шестеро осторожно ступают, нащупывая ногами тропу. Тропа узкая и усеяна зло раскиданными обломками скал.

Впереди идет Хусто, за ним Фернандо, потом Кирилл и остальные. Пот заливает глаза. Они двигаются неторопливо, чтобы не оступиться и, наскочив на камень, не скатиться вниз. Тропа сужается и сужается, гранитная глыба всей своей тяжестью наваливается на нее, и дальше — некуда, а внизу ущелье, и в нем клокочет горная река.

Рев бурного течения, ударяющегося о камни, вбирает в себя звуки, вызванные движением шестерых, затерянных в горах: хорошо, река с ними заодно. Но как дорого приходится платить за ее сообщничество! Жестокий клекот напоминает, что баклаги давно пусты, возбуждает нестерпимую жажду, и ее не пересилить. В последний раз они наполнили баклаги мутноватой жидкостью в ручейке, на который набрали утром. Почти высохший, остановившийся, ручеек и сам умирал от жажды, лишь на дне его мелкого, пожелтевшего русла, в крохотных ямках, стояла илистая вода. До того как они услышали реку, жажда лишь временами давала себя знать, — ощущение опасности заглушало все, жажду тоже. Но теперь, невидимая, вода стучится в мозг, в самое сердце. Сухим языком облизывает Хусто спешившие губы. Солнце высушило в нем все, солнце и вот этот горячий ветер, который не приносит облегчения.

Шестеро двигаются дальше. Несколько шагов, и тропа обрывается, остается совсем узкая — в одну ступню — полоска, а дальше гора почти отлого падает в ущелье. Дальше поворот. Потом начнется спуск.

Через два часа они достигнут спуска. Спуск открытый, и если они запоздают с возвращением, их непременно обнаружат фашистские посты. Надо горопиться. У самого края пропасти переступает Хусто, переступает Фернандо, переступает Кирилл, переступают те трое. Глаза ловят грузную вершину, она будто кренится, готовая обрушиться и раздавить всех. Они слышат, как с тупым нарастающим гулом летят в ночь сдвинутые ногами камни, и шестеро, холодея, жмутся к скалистому склону. И чувствуют, как сползают вниз, туда, в грохот. Они хватаются за острые, как сабли, кусты, колючки жгуче впиваются в свежие ссадины. Продвигаются еще на шаг.

До рассвета они должны спуститься в долину по ту сторону гребня, подползти к мосту, взорвать его и успеть вернуться. Через мост дорога на Мадрид. Они взорвут мост и задержат наступление колонны фашистов.

Река слышится теперь совсем близко, и сюда, наверх, доносится прохладный запах воды. Значит, скоро кончится спуск. А там — мост. Железный, на каменных быках.

Пять испанцев и Кирилл прижимаются к земле и ползут вдоль реки, обдирая кожу на ладонях, в рот набивается песок.

Хусто останавливается. Все останавливаются. Хусто вел правильно. Теперь начинается главное. Все ждут приказаний Кирилла. Они надеются на его опыт и потому уверены в успехе.

Хусто и Фернандо бросаются вниз, под мост. Фернандо отбегает чуть вправо, как было задумано, и пропадает за каменным быком. «Фернандо справится с делом,— уверен Хусто.— Фернандо справится, боевой он...» А сердце Хусто стучит, так стучит, что ему кажется— часовой услышит там, на мосту. И всматривается во тьму, всматривается и ждет, когда появится Фернандо и оба ринутся прочь от моста.

Багровая вспышка зажигает ночь... Мгновенье, и грохот гасит все.

Алесь высадил Хусто из грузовика на окраине города, и тот в форме капитана «Голубой дивизии» зашагал на вокзал. Он прошел в комендатуру. Комендант, длинный майор с хилым, невысыпавшимся лицом, взглянул на документы Хусто и сказал, что отправить его к месту назначения сможет только через три дня, не ранее. И решительно поднял руку, что означало— уговаривать нет смысла.

— А еще вернее в пятницу.

В пятницу так в пятницу. Нужна, вероятно, пометка? — чуть поинтересовался Хусто. Майор поставил штампель на уголке его удостоверения. Хусто знал, что отправка выписавшихся из госпиталя сопряжена сейчас с трудностями. Четыре дня — очень хорошо.

С вокзала Хусто направился на продовольственный пункт.

— Суточный рацион,— сказал ефрейтор-кладовщик.— Выдать больше не могу. Приказ. Так что суточный рацион. Не уедете, приходите завтра. А есть бумажка от коменданта, что задержались? — Пожал плечами: — Приказ.

— Вот. Я пробуду здесь до пятницы.

— Пометка. Вижу. Приходите, пожалуйста, завтра.

Завтра так завтра. «Здесь, как и на вокзале, стоит потолкаться,— подумал Хусто.— Только б не споткнуться на чем-нибудь, только б не попасться».

Он вышел на улицу. Перед ним тотчас появились два немецких лейтенанта. Как нарочно. Глаза веселые, возбужденные.

— Герр гауптман! — насмешливо окликнул его один из них — белоголовый, с широким и в углах загнутым кверху, как у лягушки, ртом.— Как живется-воюется, герр гауптман?..

«Пьян»,— понял Хусто. Другой был повыше, на лице проступали и пропадали розовые пятна, роговые очки спадали на кончик короткого носа, и он поправлял их. Он икнул и приложил к губам согнутую ладонь. «Оба пьяны». Хусто не знал, как поступить. Все в нем сжалось. «Осторожность, осторожность...» Ему показалось даже, что услышал голос Кирилла. Конечно, как старший по чину, он обязан одернуть зарвавшегося лейтенанта. Иначе это может показаться подозрительным. Этим же лейтенантам. «Черт бы их побрал! Свалились на голову».

— Все вы так!..— не унимался белоголовый. Он уже орал злобно и громко.

— То есть как? — посмотрел на него Хусто в упор.

— А так! Вы солдаты разве, испанцы? Девушка... Гитара... Севилья...— издевательски повертел белоголовый перед лицом Хусто растопыренными пальцами.— Романтика! А воевать — дело наше, немцев..

Выхода у Хусто не было.

— Вы забываетесь, лейтенант!

— Ну-ну...— Лейтенант в роговых очках, ссунувшимися на кончик носа, успокаивающе тронул белоголового за плечо. Он снова икнул, на этот раз не успел прикрыть рот ладонью.

«Что будет дальше?» — тревожился Хусто.

— Не сердитесь, гауптман,— примирительно произнес лейтенант в роговых очках.— Генрих, мой друг, завтра отправляется под Сталинград. Его можно понять. Не правда ли?

Хусто сдержанно кивнул.

— Прошу вас, гауптман, распить с нами по этому поводу бутылочку.— Лейтенант поправил очки, взял Хусто под руку.— Заглянем в «Шпрее»? Там можно съесть настоящий бифштекс. Прошу, гауптман.

В «Шпрее» было шумно. Молодые официантки в наколках, как в кружевных коронах, обходили столики, ставя перед офицерами, перед посетителями в штатском вкусно пахнущие блюда, красные, желтые, белые бутылки с яркими этикетками.

— Господа офицеры, пожалуйста.— Официантка Оля увидела Хусто и лейтенантов, показала на свободный в углу столик.— Что угодно? — грациозно склонила голову набок.

— Фрейлейн, ром! — бросил лейтенант в роговых очках.— Ром, бифштексы. И все остальное.

Оля принесла темно-красную бутылку. В бутылке, казалось, бился огонь.

Лейтенант в роговых очках налил рюмки.

— За благополучное возвращение Генриха! — чуть торжественно произнес он, поднимая рюмку.

— Ты веришь, что из ада возвращаются? — с отчаянием рыв-

кнул белоголовый, разинув свой лягушачий рот.— Скажи мне, ты в это веришь, Ганс? Ты в это веришь?

От мраморной доски столика, почувствовал Хусто, шел винный дух. Хусто тоже поднял рюмку. Он держал ее перед глазами, и сквозь стекло, окрашенное ромом, лицо белоголового, сидевшего напротив, показалось сплюснутым и багровым, будто залитым кровью.

— А вам, гауптман, привелось лежать под русскими пулями? Нет? — Сплюснутое багровое лицо шевельнулось.

— Я только что выписался из госпиталя,— произнес Хусто с достоинством. Он поставил рюмку.

— Слышишь, Ганс,— пьяно рассмеялся белоголовый,— он говорит — из госпиталя... Вам же, «голубым», чертовски везет.— Непринужденно и весело хлопнул он Хусто по плечу.— А к нам, немцам, судьба не так милостива. С передовой нас чаще всего волокут не в госпиталь, а в преисподнюю. Так что, гауптман, возблагодарите господа-бога. И — выпьем!

Выпили.

Еще выпили.

Белоголовый совсем захмелел. Он прищурил глаз, словно хотел что-то вспомнить, но, видно, запутавшись в воспоминаниях, обессиленно махнул рукой и прохрипел:

— Разве вы знаете, что такое война? — Он уткнулся подбородком в грудь.— Ты вот по госпиталям шляешься. Подумаешь, пуля задницу царапнула. А ты, Ганс, тыловая крыса. Не обижайся, Ганс, верно говорю. Ты. Тыловая. Крыса. Гебитскомиссариат — заведение тыловых крыс. Не обижайся...— трудно поворачивал он язык, ставший вялым.— И все вы подлецы. Ты и ты. Оба. Все.

— Ну-ну...— неуверенно успокаивал белоголового тот, в очках.

Помолчали.

— Тебе — ну-ну... А мне — в ад! — снова распалился белоголовый. Минутная пауза придала ему силы, он оторвал наконец подбородок от груди и вдруг, как бы вспомнив то, что вспомнить не удавалось, взорвался: — Танковый корпус! Это такой же корпус, как мы трое батальон. Да. Под Москвой это был корпус. Вы же не нюхали Москвы?.. У меня Москва вот где! — тяжело хлопнул себя по шее.— Чуть живого из танка выволокли. Разве вы знаете, что такое война?! Крысы. Госпиталь. Гебитскомиссариат. И какой то был корпус! — возвращался он к тому, что больше всего занимало сейчас его воспаленное воображение.— Весь расколотили! А теперь подкинули десяток залатанных танков и говорят — укомплектовали корпус... Говорю же, предатели! И разве это танкисты? Саперы!

«Это уже интересно»,— подумал Хусто.

— Тогда все в порядке, лейтенант,— изобразил он сочувствие на лице.— Можете не волноваться, раз такой корпус, то в серьезное дело его не двинут. Еще раз за ваше возвращение!

— Не буду... с тобой... пить... Ты б-болван.— Белоголовый громко икал, дышал шумно и прерывисто, глаза уже не различали, где Хусто и где Ганс, и потому смотрели на обоих сразу.— А Сталинград, по-твоему, не серьезное дело? Тыловые крысы...

— Ну-ну...

— Мне пора, господа,— сказал Хусто. Он встал. Он опасался, что их столик может обратить на себя внимание.

— И нам пора,— сказал лейтенант в роговых очках.— Фрейлейн! — щелкнул пальцами.

Он бросил на столик деньги и, поддерживая белоголового, поднялся.

«Как бы от них отделаться». Хусто уже беспокоился.

У дверей кафе Хусто заметил Мефодия. Тот неловко отступил, давая офицерам дорогу.

— Болшевик? — Непослушной рукой потянулся белоголовый к пистолету.

— Хе! Большевик! Большевики мне — вот... — сверкнул Мефодий водянистым глазом и показал на деревяшку. Хусто увидел его покрытые рыжими волосами руки.— А дойч хочет меня пиф-паф? Нихте хорошо, герр дойч, пиф-паф,— усмехаясь, покачал головой.— Большевики — вот,— опять пожаловался и снова ткнул рукой в деревяшку.

— Осел же,— сказал лейтенант в роговых очках.— Брось его. Всех ослов не перебеешь. Пошли.

— Пожалуй,— хмуро согласился белоголовый.— Ослы нужны. У?

— Го-го-го! — захохотали оба получившейся шутке.— Го-го-го!..

— Хе-хе-хе...— хрипло залился и Мефодий, будто понял их шутку и разделяет ее.

Дошли до перекрестка. Хусто распрощался с лейтенантами. Вечерело. В тусклом свете сумерек лица пробежавших мимо людей показались ему еще более озабоченными и испуганными, чем днем, когда шел на вокзал. Каждый нес в себе свой маленький мир, совсем незащищенный, по глазам можно было видеть, что незащищенный, и мир одного был похож на мир другого, как мрак одной ночи похож на мрак другой ночи. «Как трудна, и неудобна, и безнадежна жизнь, когда пропадает ее единственный смысл — радость»,— подумал Хусто. Он почувствовал себя одиноким в этом пустынном для него, холодном го-

роде. «Человек один, сам с собой, так же слаб, как пылинка, поднятая в воздух»,— размышлял Хусто, и если б не образы товарищей, ни на миг не ухודившие из головы, он пал бы духом. Они все время были рядом, и он жался к ним, протягивал к ним руки и ощущал их тепло в своих ладонях.

Он подошел к гебитскомиссариату. В нескольких окнах еще горел свет. Из окон третьего этажа свет ложился на широкую вершину старого дерева, достигавшую наружных подоконников, и, уже слабый, падал вниз, на тротуар, и терялся под ногами. Хусто прошел мимо здания. Он долго бродил по опустевшим улицам и снова оказался у здания гебитскомиссариата, только с другой стороны. Потом вышел на площадь, над ней двигалась серая туча, свернул в переулоч, отыскал нужный ему дом. Каменный дом стоял в конце переулка, даже не в переулке, а на пустыре, среди развалин, один, чудом сохранившийся. Поднялся по лестнице, крутой и темной, остановился у двери, на которой мелом был выведен номер, тот, что искал, и позвонил.

Дверь открыла Оля.

— Вам кого?

— Вас...

— Вы не ошиблись?

— О, нет...

— Вы все-таки, вероятно, ошиблись.

— Нет. Уверен в этом так же, как и в том, что город этот не Мадрид,— произнес Хусто слова пароля.

— Вы из Мадрида?

— А вы из «Шпрее»...

«Пароль, пароль,— успокоилась Оля.— Он». Его ждала Оля. «Этот заходил днем с лейтенантами в ресторан».

— Пожалуйста,— улыбнулась.— Пожалуйста.

Конечно, живет она скромно, уж пусть капитан не обессудит...

После землянки эта небольшая комната с зелеными обоями, пузырьками вздувшимися в углах, с узкой кроватью, с диванчиком у окна показала Хусто выдуманной, так хорошо было здесь. Он даже зажмурил от удовольствия глаза.

Ночью небо как бы придавливает траншее, и в ней становится тесно. Хусто лежит на дне траншеи, упираясь головой в холодную стену. Он закутывается в мантию, легкое одеяло. Ближе, на том берегу Мансанареса, в парке Каса-дель-Кампо — враг, почти окруживший Мадрид. Роте, которой командует Хусто, предстоит выбить противника из окопов, что на левом фланге. Хусто настороженно прислушивается к глухому шороху воды, к неровному движению ветра в аллеях. Он вздрагивает, ко-

гда с бруствера неожиданно падает комок земли, и от внезапного шума пролетающей над траншеей птицы тоже вздрагивает, даже посапывание Фернандо, лежащего рядом, кажется подозрительным,— ночью все подкрадывается. Рука нащупывает в кармане сухой кусок сыра. Оба, он и Фернандо, с утра не ели — весь день марокканцы били из орудий, и доставить еду нельзя было. Хусто разламывает сыр, отыскивает в темноте руку Фернандо. «Возьми». Хусто слышит, как жует Фернандо, это длится недолго, минуты две. Но и у него уже ничего в руке, буд-то и не было сыра. «Поестъ бы, а потом выспаться...» Ничего другого Хусто сейчас не хочется. На рассвете атака. Надо выбить марокканцев и легионеров из Каса-дель-Кампо, выбить из Карабанчеля. Пятый полк, интербригада на рассвете делают это, думает Хусто. Его рота готова к атаке. Мысль о предстоящей атаке почему-то приводит к Тересе. Она, конечно, очень устала и спит сейчас. Хусто знает: вместе со всеми работницами фабрики Тереса роет окопы в оливковой роще, у горы Ангелов, и раз в три дня возвращается ночевать в мансарду шестизэтажного дома, в которой они живут. Это совсем близко отсюда — несколько кварталов позади траншеи, не доходя до Северного вокзала. «Как там моя Тереса?» — произносит Хусто. Но Фернандо уже спит. Хусто опять слышит его посапывание, похожее на гихие, беспомощные стоны. И когда Хусто на некоторое время перестает думать о Тересе, она приходит к нему. Она сваливается в траншею, задевает Фернандо, тот в испуге просыпается, схватывает винтовку. «Хусто, что случилось?» — дрожит его голос. Тереса сидит, прикинув к Хусто, он обнимает ее плечи. «Тереса пришла», — счастливо отвечает Хусто. А она дрожит, и радуется, и целует его в нос, в щеки, в глаза, в лоб, куда попадет в темноте. «Тебя же могли убить, Тереса!» — ужасается Хусто. Тереса чуть слышно смеется. «Тебя могли убить...» — повторяет Хусто, будто она еще там, на пути к нему. «А теперь мы роем не у Ангелов, — перебивает его Тереса, — копаем у Толедского моста. Милисианос, который командует нами, сказал мне, где твоя рота. Сегодня управились мы рано, и я трамваем добралась к тебе поближе. А потом за-светло подошла к расположению твоей роты, высмотрела, где ты, и, как парашютистка, сбросилась тебе на голову. Ты недоволен?» Она шарит рукой, находит узелок. «Но ведь тебя могли убить, Тереса», — все еще переживает Хусто. «Заладил! Я принесла вам лепешек», — развязывает она узелок и сует лепешку Хусто, лепешку Фернандо. «Ох, и Тереса у тебя! — вос-торгается Фернандо и опять шумно жует. — Матерь божья!» Хусто смеется, он и сам так думает. Фернандо, должно быть, уже съел лепешку. «И республика хочет победить! Увидел ми-

лисианос смазливую бабенку и растаял: вон где рота, иди...» — роняет он ворчливо-дружелюбно. «Но это же Тереса!» — восклицает Хусто, как будто этого достаточно, чтоб оправдать простодушного милисианос. Проходит еще немного времени. Хусто хлопает Тересу по плечу. «Ну, мать божья, тебе пора». А сам крепко держит ее руки. Она медленно освобождает их, целует Хусто, целует еще раз и еще, потом губы ее отыскивают Фернандо, целует и его. Легкая, тонкая, выбирается она из траншеи. Хусто приподымается и следит, как бесшумно убегает она в ночь, в город, утонувший во тьме, будто города и нет вовсе. Хусто видит холодные звезды на небе, начинающем синеть, звезды крупные, как орехи, они висят как раз над Мансанаресом, и это недалеко. Он опускается на дно траншеи и ложится возле Фернандо. На рассвете атака. Значит, уже скоро...

Хусто прошел мимо гебитскомиссариата, здания с длинными рядами узких окон. Третий день он в городе. Он может пробыть здесь еще завтра. Завтра пятница. В пятницу после двенадцати ночи кончится срок пометки на удостоверении, и он уже будет считаться дезертиром. Хусто посмотрел на часы. Было без четверти пять.

Надвигался вечер.

Вчера Фернандо вышел из гебитскомиссариата в шесть часов десять минут. Пока он спускался по широким каменным ступеням к машине, Хусто успел его рассмотреть. Никакого сомнения, это был Фернандо, друг Фернандо. Ничто не изменило его: ни серые виски, ни постаревшее лицо, ни погоны оберста. Да, да, это был Фернандо Роблес с Куатро-Каминос, парень из рабочего предместья. Точно, он. Жив, значит... Хусто никогда не слышал, чтоб сердце так стучало, он даже испугался. С трудом сдержал себя и не кинулся к нему: «Фернандо!» Фернандо, он. Хусто усмехнулся: а вдруг?.. Он отбросил мелькнувшее подозрение. Ерунда. А тот неспешно ступал по ступеням, ниже, ниже, он был уже внизу. «Такой же...» — смотрел Хусто. Фернандо всегда был красив, девушки так любили веселого, белозубого, бравого кабальеро Фернандо. Он и сейчас красив, Фернандо. Ему все к лицу, и моно с золотым блеском «молнии» по синему, которое он носил в Пятом полку, и эта шинель оберста тоже. Он был храбр, Фернандо, это верно. На грузовиках, пешком отступали они из-под Эстремадуры. А потом — Харамы. Никто не скажет, что они плохо дрались. Они хорошо дрались. Но — немецкие танки, итальянские самолеты... Все время были они вместе. Потом — под Мадридом и в самом Мадриде... Все время вместе. До той минуты, когда Хусто был ранен в атаке у

Мансанареса. Больше он не встречал Фернандо. И вот Фернандо, как и он, здесь, так далеко от Испании.

Фернандо не мог заметить Хусто, шедшего по противоположной стороне улицы. Хусто видел, как шофер протянул руку, открыл дверцу машины, и Фернандо уселся с ним рядом.

У Хусто и сегодня не было ясного представления, как действовать дальше, и это было мучительно. Одно несомненно — надо, чтобы Фернандо узнал его. От того, как отнесется он к Хусто, зависит все остальное. Хусто снова поравнялся с подъездом. Машины не было. У дверей стоял часовой с автоматом.

Хусто остановился перед воззванием, наклеенным на заборе, и в десятый раз стал читать. Но краем глаза поглядывал на подъезд. Никого. Уже шесть сорок. Он поймал себя на том, что слишком долго читает воззвание. А вдруг за ним следят? Он двинулся в том направлении, куда вчера поехал Фернандо.

Атака начинается на рассвете. С окраин города ударяют батареи. Хусто и Фернандо напряженно смотрят в небо, ждут, когда на нем появятся три большие звезды цвета республиканского флага, одна за другой: красная, желтая, лиловая. Хусто мельком взглядывает на Мансанарес — такая узкая, такая тонкая речонка, будто на карте изображена, а не по земле струится. Они когда-то весело бродили тут, у Толедского моста, у Севильского моста, он и Тереса. Фернандо вдруг толкает Хусто в грудь, но Хусто и сам видит красную звезду, вспыхнувшую в небе, она медленно падает и гаснет. И тотчас, сверкнув, загораются желтая и лиловая звезды и тоже падают, оставляя в воздухе дымный хвост. Бойцы Пятого полка поднимаются в атаку. Хусто рывком выскакивает из траншеи. Он бросает взгляд направо, налево: рота бежит вдоль берега, кидается в воду. Вода теплая, густая. С флангов бьют пулеметы, они не дают фашистам подняться роте навстречу. Фашисты ведут огонь из окопов. Окопы в Каса-дель-Кампо, деревья прикрывают их. Пригнувшись, с винтовкой наперевес, несется Хусто к пригорку, командиры взводов знают, что туда должен быть перенесен его наблюдательный пункт. «Вперед! Вперед!» Стрельба и крики смешиваются, это вал катит на Каса-дель-Кампо. Где-то за деревьями умолкает пулемет. Значит, бойцы уже в парке. «Да здравствует республика!» Это они кричат. Теперь они бегут во весь рост, припадают к стволам деревьев, стреляют и бегут дальше. Дальше — это до следующего дерева, потом опять до следующего. Одни падают, Хусто это видит, другие продолжают бежать, но падают и эти, видит Хусто, и бегут те, что следовали сзади. И он уже не замечает падающих, он смотрит толь-

ко на бегущих. «Да здравствует республика!» Это Фернандо, это его голос. Фернандо опередил Хусто на несколько метров. До пригорка уже недалеко. Недалеко, если быстрее бежать. Хусто чувствует, как напряжены его мышцы. Ему становится трудно, он все больше отстает от Фернандо. Он останавливается, сам не понимает почему. Ах, догадывается, вот что! Просто хочет перевести дух. Он стоит, но все равно тяжело дышит, будто продолжает бег. Он сваливается у самого пригорка. Два бы шага еще, и он был бы там, на наблюдательном пункте. «Сейчас поднимусь...» Он делает эти два шага. Он понимает, это от переутомления. Ему следовало ночью отдыхать. Ах, Тереса!.. Но все равно, он благодарен ей. «Да ты ранен, Хусто!» Фернандо? Да, Фернандо. Теперь и Хусто видит, что его моно на груди не синее, а красное. Красное, как кровь.

Он шел по правой стороне и смотрел на каждую обгоняющую его машину. Темное небо лежало на крышах вечеревшего города, и город был очерчен свинцовыми контурами.

Хусто не заметил, что подошел к вокзалу.

Он увидел на перроне двух венгров, сидевших на рюкзаках. По шинелям узнал, что венгры. Подбирая немецкие слова, разговаривал с ними.

— Тоже ждешь отправки? — безучастно спросил венгр с маленькими черными глазами.

— В пятницу, обещал майор.

— А куда тебе?

— Куда, — грустно усмехнулся Хусто. — Вперед...

— Ну, тогда непременно отправит, — сказал венгр. — А мы еще покоптимся здесь...

— И это тебя не устраивает? — удивился Хусто. — Все же спокойней, чем там, — кивком показал он как бы в сторону фронта.

Глаза венгра стали сердитыми.

— У нас отпускные. На десять суток. После ранения, — пояснил второй венгр.

— Тогда понятно, — сказал Хусто.

На запасном пути, попыхая, словно от нетерпения, стоял поезд. Мимо венгров и Хусто шумно прошел комендант с офицерами. «Эсэсовцы», — увидел Хусто знаки на шинелях.

— Это из прибывшего эшелона. Они! Три часа уже стоит состав, — сказал первый венгр. — Не хотят трогаться.

— Ты же слышал, — ухмыльнулся второй. — Когда мы к коменданту заходили. Видно, обещали эсэсовцам работенку в тылу, а тут их перехватил приказ — под Сталинград. Забеспокоились, видишь?

— Под Сталинград? — переспросил Хусто. — Откуда ты знаешь?

— Оттуда! — огрызнулся венгр. — Такое тут подняли, что и дураку ясно станет, что к чему. Не поможет. Упекут на Волгу...

— Утром сегодня три состава с танками прошли, — сказал первый. — Мы как раз были тут. Поняли, что тоже туда.

— Три состава? — равнодушным тоном повторил Хусто.

— А тебе не все равно, три или пять? — нахмурился венгр. — Говорят тебе три, так три. Пойдем, — сказал он товарищу. — Он и сегодня не отправит нас. Собака!

Венгры вскинули рюкзаки на плечи, кивнули ему и пошли.

Завтра должен приехать Алесь. Хусто передаст ему то, что узнал. Перешлет Кириль сообщение о танковом корпусе из латаных машин, направляющемся под Сталинград или в самый Сталинград, и о том, что мимоходом рассказали венгры.

Но Фернандо, как быть с Фернандо?

Хусто машинально снова повернул к гебитскомиссариату. Он ни на что уже не надеялся сегодня. Поздно. Может быть, попытаться перехватить Фернандо утром, когда он подъедет к зданию. Надо ускорить дело. Как бы не навлечь подозрения слишком частым появлением здесь.

Два фонаря на столбах освещали подъезд, тротуар и мостовую перед подъездом. Хусто замедлил шаг, чтоб чуть дольше побыть возле здания.

Он не поверил своим глазам: открылась дверь, и он увидел Фернандо. Тот спулся, как и вчера, тяжело склонив голову. У Хусто занялось дыхание. Ноги подкашивались, и он не мог шевельнуть ими. Фернандо повернул к нему лицо. Хусто напряг все силы, поднял руку и отдал честь. На мгновение глаза их встретились. Взгляд Фернандо, мимолетный, не был безразличным, какой бросают на что-нибудь случайное, совсем незначительное, — Хусто чувствовал это.

Подкатил автомобиль, Фернандо уехал.

Теперь уже все моно красное, и Хусто знает — это кровь. Его кровь. Фернандо, чудака, прикладывает ладонь к груди Хусто, как будто это может помочь. Фернандо становится жарко. Он проводит рукой по своему лицу, вытирает пот, и кровь Хусто, смешавшись с мокрой от пота пылью, размазывается по лицу Фернандо, и небритые щеки становятся мутно-оранжевыми. «Я все понял, Фернандо, — собрав силы, говорит Хусто. — Принимай командование ротой». — «Есть, — отвечает Фернандо. — Рота продвинулась на двести метров, Хусто. Даже на двести пятьдесят». Он помогает санитарам уложить Хусто на носилки.

С дерева слетает ветка и падает Хусто на голову. Фернандо скидывает вверх глаза. Это пуля сшибла ветку. «Хусто, брат мой, твоя кровь — это моя кровь, — чуть не плачет Фернандо. Нижняя губа его дрожит, и родинка на ней движется, словно мушка, которая собирается улететь. — Я клянусь...» В чем клянется Фернандо, Хусто уже не слышит, санитары подхватывают носилки и быстро, перебежками, двигаются обратно к реке. «Рота все-таки вышла на другой берег, — постигает мутнеющим сознанием Хусто. — Рота продвинулась на двести метров, даже на двести пятьдесят». Хочется спать.

Ветхий диванчик у окна скрипел каждый раз, когда Хусто поворачивался с боку на бок. Он слышал, как постанывала во сне Оля, потом услышал, что она проснулась.

— Плохо вам? — спросила она. — Что-нибудь случилось?

— Кажется, он меня узнал. Но как быть дальше...

Фернандо узнал его. Конечно, узнал. Так пытливо посмотрел он на Хусто. Он мог его тут же задержать. Ну что мешало ему задержать лазутчика? Но, может быть, решил, что и Хусто служит немцам? Почему же не кинулся к нему или просто не подошел: здравстуй, Хусто? А может быть, может быть, он, как и Хусто, выполняет задание советского командования? Или Сопротивления? И, увидев его в форме капитана «Голубой дивизии», предположил в нем изменника? Стоило прийти к какому-нибудь решению, как сомнения тотчас рассыпали его, словно горку из песка.

Он не мог сообразить, что делать, как поступить. «Фернандо, Фернандо... — мучилось сердце. — Неужели наше время ушло, время, когда ты и я могли просто подойти друг к другу?..»

Вконец измученный, он уснул.

Еще не было восьми, когда Хусто появился у гебитскомиссариата. «Надо решаться. Так дальше нельзя, — думал он. — Каждую минуту могут сцапать».

— Документы! — Перед Хусто патруль.

Хусто развернул удостоверение так, что сразу видна была пометка и штампель коменданта.

— Тороплюсь к оберсту...

Чувство опасности рождает удивительную решимость. Хусто взошел на ступени. С каждым шагом решимость его росла, и когда отворял дверь, он был совершенно спокоен. Но как пройти к Фернандо, как о нем спросить? Господин Роблес? А может, у него теперь другое имя, все другое? Если б знать, где его кабинет! Только это. Он медленно шел по коридору, соображая, как быть.

— Герр гауптман! — услышал он за спиной. Хусто обернулся. Он узнал лейтенанта в роговых очках.— Герр гауптман, рад вас видеть!

— О! — искренне обрадовался Хусто. Он даже обнял его.— О Ганс!

Постояли у окна, поговорили. Генрих уже отправился на фронт, Ганс ждет от него вестей. И герр гауптман отправляется туда? Святое дело, святое дело. Ганс завидует Генриху, завидует гауптману. Право же, хоть сегодня готов уехать на фронт. Ах, эта унылая работа в тылу — она для женщин, для калек... — Лейтенант поправил очки, сползшие на короткий нос.— Но начальство ценит Ганса и не пускает его. Ганс вынужден подчиниться. Военная дисциплина, герр гауптман понимает, тут ничего не поделаешь... Ганс, выражая покорность, опустил глаза. Помолчал. Герру гауптману нужно к герру оберсту? Ну конечно, конечно — соотечественники! Герр гауптман не знает, где кабинет оберста? О, битте, битте... Лейтенант показал кабинет Фернандо — в самом конце коридора, дверь направо.

Хусто улыбнулся, кивнул.

Хусто смотрит на стену. Стена голая, только календарь на ней. Он с усилием всматривается в цветной лист календаря. Потом, прикрыв глаза, высчитывает. Если не ошибся, три месяца и неделя, как он здесь, в госпитале. «Ты счастливец, Хусто,— говорит Тереса, присаживаясь у его койки. Каждый день, возвращаясь с рытья окопов, заходит она к нему сюда, на Пласа де Лас Кортес.— Ты счастливец, Хусто. Пуля прошла на пять миллиметров выше сердца». Тереса говорит правду. Он думает о своей роте. Думает о Фернандо. Он и сегодня спрашивает, где Фернандо, что с ним? Тереса молчит. Потом грустно-грустно произносит: «Не знаю». Тереса сказала неправду. Фернандо погиб. Он попал к фашистам в плен, его растерзали. После обеда Хусто приносит газеты. Последние и старые тоже. Четвертушки серой оберточной бумаги. В газете двухмесячной давности глаза натываются на сообщение об этом. Фернандо погиб.

— Фернандо! — Хусто переступил порог кабинета. Он вдруг почувствовал слабость.— Фернандо... — взволнованно повторил он.

Фернандо посмотрел на Хусто. Похоже, не удивился его приходу. Он положил руки на стол, сцепил пальцы. Глаза его не двигались, темные, утомленные. Он молчал.

— Салюд, Фернандо! — Хусто не мог говорить, у него пропал голос.

Фернандо молчал. Глаза его все еще были как замороженные.

Захваченный нахлынувшей радостью, Хусто не замечал отчужденности Фернандо.

Но почему он молчит и глаза пустые? — встревожился Хусто. — Может быть, тоже взволнован, никак не придет в себя — такая встреча...

— Мы как-то потерялись... — услышал Хусто свои слова. Он сел на стул против Фернандо. — Что произошло с тобой, после того как нас разбили? — Он говорил с тяжелыми паузами, и паузы эти давали возможность постепенно вносить смысл в его речь. — Ты же попал в плен. Я читал в газетах. Да, да, я читал в газетах. Как же тебе удалось спастись, Фернандо?

Глаза Фернандо закрылись, словно обдумывал что-то очень важное. Потом разомкнул веки, опустил глаза, и Хусто уже не видел их выражения.

— Столько прошло лет! И каких лет, Фернандо. Помнишь мост под Мадридом? Как мы взорвали его — русский Кирилл, ты, я! А Карабанчель. Потом Каса-дель-Кампо, атака на расвете? Еще Тереса приходила ночью... Помнишь? Ты еще сказал: «Божья мать»... Ты должен помнить это, Фернандо...

Хусто даже ощутил запах той ночи, вкус сыра, который нащупал в кармане, услышал шорох воды и шум ветра.

— Помнишь, санитары уносили меня за Мансанарес? — Хусто возвращал Фернандо в прошлое. — А потом — госпиталь. Рана та зажила. Были у меня и другие раны, те тоже зажили. Раны на теле — сущие пустяки, Фернандо. Я в этом убедился. А тебе не приходилось убеждаться в этом?

— Так вот, Лопес. — Фернандо разжал пальцы. Он остро взглянул на Хусто.

Лопес? — покорило Хусто. — Разве они не друзья больше? Значит, что-то развело их в разные стороны? Просто Фернандо не уверен в нем, может быть, предполагает, что он подослан к нему. Он развеет его сомненья!

— Фернандо, я пришел с важным делом от наших друзей, от тех, кто помогал нам, когда Испании было трудно, очень трудно. Я пришел к тебе от них... — вполголоса произнес Хусто. Он подался вперед, и теперь голова его была совсем близко от Фернандо. — Не смотри на мою форму. Я уверен, что и твоя ничего не значит.

Не опрометчив ли? Он испугался. Так сразу, кто он и зачем? Минуло же столько времени... Нет, нет. Человек из Куатро-Каминос не мог уйти к гитлеровцам. А если, если... Если Фернан-

до предатель? Хусто показалось, что остановилось сердце. Что ж... У гитлеровского оберста должно быть безупречное прошлое. И Хусто опасный свидетель, если Фернандо выдаст его. Он в руках Фернандо, так же, как и Фернандо в его руках.

— Послушай, Лопес, — еще раз произнес Фернандо. — Прошу запомнить, моя форма значит то, что она значит...

— Фернандо... — Все стало ясно. И все-таки он не мог поверить тому, что услышал: он разговаривал с другом, которого никогда не было? — Ты же не станешь утверждать, что тогда, под Мадридом, ты был не нашим, был не настоящим?

— Я был командиром республиканской роты. После тебя. Я и тогда был настоящим. Как и сейчас. — Голос Фернандо — как бы издалека, глуховатый, замедленный.

Фернандо уходил все дальше и дальше. Произошло худшее, что могло произойти. Хусто охватило чувство беспомощности. Он еще не мог отделить живого Фернандо от того, который только что умер здесь, в кабинете. Теперь глаза закрыл Хусто.

— Фернандо... — еле произнес Хусто, будто его схватили за горло и лишили дыхания. — Но ведь...

— Ты хочешь сказать — идея? — прервал его Фернандо.

Хусто открыл глаза, он заметил усмешку на губах Фернандо.

— Так вот, Лопес, идея — это жизнь. А жизнь меняется, меняются и идеи...

— Конечно, Фернандо. Жизнь меняет идеи. Все зависит от того, какая жизнь. Скверная жизнь, подлая жизнь человека рождает в нем скверные, подлые идеи. — Хусто уже что-то переислил в себе, что-то преодолел, и это принесло облегчение.

— Жизнь, Лопес, это жизнь, и ничто другое не надо придумывать. Сильный, скажешь, слабого? Да. Но ведь это в самой природе вещей. Мир устроен так, что всем не может быть хорошо. И тут никакие идеи ничего не изменят. Говоришь, Карабанчель, Каса-дель-Кампо? Мадрид защищал тогда не правое дело. Кровь на его камни пролилась напрасно. Оказалось, правда была не на нашей стороне. Нас и разбили. Жаль, когда люди отдают жизнь, отстаивая заблуждения.

— Заблуждения? Что ты хочешь этим сказать?

— А ты был понятлив, Лопес. Слушай. Дело не в том, чья идея вернее. Важно знать, кто кому шею свернет.

— Кто же кому шею свернет? — Хусто стало любопытно.

— Немцы русским. И потому я с немцами.

— Мне страшно подумать, Фернандо, что тогда, у Мансанареса, лежал с тобой в одной траншее, бок о бок. Враг, оказывается, был не только по ту ее сторону, но и рядом со мной. Измена всегда измена. Она не приносит человеку покоя, не дает ему веры. И тогда он пуст.

— Слова, Лопес.

— Послушай, Фернандо! — Хусто сжал кулаки. — Выдай меня, если ты уже не тот... Я не скажу им о твоём прошлом. Наше хорошее прошлое не может тебе принадлежать, если ты в самом деле не тот... — Он понимал, Фернандо это уже ничего не говорило, с этим у него все покончено.

— О моём прошлом? — Пальцы Фернандо мелко и быстро забарабанили по столу. — Не выйдет. Я всегда знал, что ты благороден.

— Выдай, выдай меня, если ты уже не тот... — простонал Хусто.

— Нет, — сухим голосом произнес Фернандо. — Ещё есть время, ты подумаешь. И тогда — как знать — мы друзьями вернёмся в Мадрид. — Он помолчал. — Маскарад? — кивнул на форму Хусто. — Или на нашей стороне, но... В таком случае ты бесчестен, Лопес. Я по крайней мере и тогда и сейчас был искренен. Что ты на это скажешь?

Хусто не ответил. Потом медленно поднял глаза:

— Искренность подлеца?..

— Так вот, Лопес. Считаю, что тебе повезло. Все-таки бывший друг. А теперь убирайся. Великодушие не безгранично. А на войне оно вообще не существует. Это первое, что убивают, когда начинается война. — Фернандо встал. — Повторяю, Лопес, тебе повезло. Убирайся!

Мадрид спокоен в этот час. Хусто приподымается на койке и вытягивает голову к окну. Одеяло сползает на пол, и обнажается забинтованная грудь. Хусто видит, как синяя мгла движется по улице, заполняет воронку почти под самым окном госпиталя. У подъезда — санитарные машины с большим красным крестом на ветровом стекле, на крыше, из машин этих вытаскивают носилки с ранеными. Одного приносят в палату, у него сбился на голове бинт со следами почерневшей крови. Хусто снова выглядывает в окно. Напротив — женщины с бидончиками, с ведерками, с корзинками жмутся к стене ещё закрытого магазина. У некоторых на руках спят дети, совсем крошки. Откуда-то доносится гул, и женщины встревоженно взглядывают на небо. Ничего, оказывается, страшного. Это из-за угла выплыл грузовик и проходит по улице. Мадрид пока спокоен. Он спит. А часа два назад город бежал, гремел, пылал. Всю ночь падали бомбы, «юнкерсы» прилетали, уходили, опять появлялись. Хусто видел, как вдалеке горели дома. Ветер вздымал рваные языки пламени, и это напоминало сад из красных деревьев. Хусто продолжает смотреть в окно, он думает, каким

спокойным, ласковым, настоящим может быть город, когда его не беспокоят бомбы и он готовится встретить торопливый перезвон трамваев, поскрипывание тележек зеленщиков и молочниц, похожие на птичий голоса школьников. И опять — сирена! Хусто успевает опуститься на койку, успевает поднять с пола одеяло и кое-как укрыться, успевает перевести взгляд на дверь, в которой показываются невыспавшиеся, утомленные санитары. Они укладывают раненых на носилки и выносят в коридор, по лестнице спускаются в подвал. Потом они приходят за Хусто. Где-то недалеко, слышит он, разрывается бомба. Как удар в колокол, из окна со звоном вылетают стекла. И отяжелевший воздух, тугий и теплый, как гонимая ветром вода, движется по палате, и еще резче запах бинтов, пропитавшихся кровью. Хусто несут. Он чувствует, как дрожат от напряжения руки санитаров, сжавшие поручни носилок...

Возможно, за ним следят. И он не стал дожидаться Алеся, который должен сегодня в полдень приехать в город по своим делам. Он выбрался на шоссе и сел в попутный грузовик. На девятнадцать километров Хусто вылез из кабины — ему нужно было направо, грузовик сворачивал влево. Кружилась от пережитого голова. Он постоял немного перед тем, как двинуться дальше. Только теперь почувствовал он, как измотало его ощущение опасности, наполнявшей каждую секунду целых трех дней, трех ночей. Опасность не давала уснуть, шла с ним вместе, шла на вокзал, когда он туда шел, останавливалась у подъезда и поднималась с ним по ступеням, ведущим в гебитско-миссариат...

Он не заметил, как повернул в лес. С ветки отвалился скрученный коричневый лист и закружился перед глазами, под ногами скрипнул сухой сучок, еловая шишка податливо вмялась в жесткую траву. В лесу стоял туман, он обволакивал стволы, клочками висел на вершинах, будто зацепился за них и не мог тронуться дальше.

Хусто присел на пень, сложил на коленях руки, и голова легла на них. Он ощутил холодную каплю, стекавшую по щеке. По еловым ветвям, как по лестнице, слышно спускался ветер и обдувал его. Он уже закрывал глаза, когда увидел Фернандо. Тот неторопливо подходил к нему и, склонив голову набок, остановился. Он стоял перед ним удивительно определенный, с длинными сросшимися бровями, словно кто-то провел через лоб черную полосу, разделив лицо с маленькой родинкой возле губ, похожей на мушку. Хусто поднял голову, и Фернандо пропал.

Он ясно же видел его перед собой. Ну вот, Фернандо снова перед ним. Это ветер гудит вокруг или кровь шумит в голове — не может Хусто понять. Как бы раздваиваясь, он ощущает себя здесь, в лесу, и там, в траншее у Мансанареса.

Он снова закрыл глаза, и пока были смежены веки, прошлое, такое далекое, повторилось, оно как бы получило второе существование. И он снова прожил его в эти несколько минут. Только сейчас понял он, что прошлое не умирает, оно живет в памяти и так же реально, как и настоящее, время ничто не в состоянии стереть. Прошлое — это же целый сбывшийся мир, в котором действуют все, и те, кто еще жив, и те, которых уже нет, все равно память возвращает их, и они вместе радуются, печалятся, борются. Это она не дает времени умерщвлять прошлое, перемещает его в настоящее, и человек видит всю свою жизнь. Видит такой, какой она была. И это снова приносит радость, если была радость. А если только то, что может вызвать чувство стыда и горя? «Нет, Фернандо. Нам не придется краснеть за наше прошлое. Мы боролись. Мы искали правду. Для всех. Разве ты не горд, боец Пятого полка?» Но как он сказал, Фернандо? «Жизнь меняется, меняются и идеи...»

— Не сердись, Хусто,— заговорил Фернандо.— Нам не из-за чего ссориться. У нас уже ничего нет. А может, и не было ничего?

— Было, Фернандо. Как же! Много было...

Хусто не боялся воспоминаний, они согревали его и сейчас связывали с будущим. Фернандо опасался их. Как брошенные в него камни, они причиняли ему боль, видел Хусто.

— Все, что осталось,— только в памяти, вот как у тебя,— жаловался Фернандо.— Испания далеко, так далеко, что даже представление о ней туманно. Нас раскидало по чужим землям, под чужие знамена. Что нам в них, Хусто?

— Ты меня уже не поймешь, Фернандо...

— Я теперь многого не понимаю,— вздохнул Фернандо.— В мире все неясно. Не знаешь, где искать истину. У русских? У немцев? Ничего нельзя предвидеть заранее. Ничего. Всегда делаешь, думая, что правильно делаешь. А когда сделал, видишь — не то...

— Если честное делать, чистое делать, всегда — то!

Хусто видел, как тучи заворачивали сюда, на лес, свет постепенно уходил, трава, кусты, деревья превращались в тени, и тени эти сливались в сплошную темноту. Фернандо сидел с ним на пне, голова опущена, и потому глаза смотрели в землю.

— Как это вышло у тебя, Фернандо?

— Знаешь, и сам в толк не возьму. Нервы сдали.

— Тут нервы ни при чем, Фернандо. Нервы совсем ни при чем. Ты просто лишен совести, понимаешь, нет у тебя чести, верности нет. Ничего нет. Но тогда, в Каса-дель-Кампо, я этого не знал. И мне жаль, Фернандо. Ведь дружишь прежде всего с совестью, а потом уже со всем остальным...

— Мы были молоды и глупы,— слышал Хусто.— Мы верили в идеи. Идеи требовали нашей крови, и мы отдавали свою кровь. До чего ж мы были глупы, Хусто!

— Ты думаешь?

— Я думаю? — усмехнулся Фернандо.— Я знаю! Беда быть человеком,— доносился его глухой голос.— Лучше травой, камнем лучше...

— Нет, Фернандо. Нет и нет. Ты боишься жизни, и у тебя ничего не осталось. А может, и раньше ты был пуст, и я просто не замечал этого?

Хусто испытывал сейчас бóльшую боль, чем тогда, когда Фернандо укладывал его в санитарные носилки. Боль та растянулась во времени и нарастала. В нем все болело. Фернандо, предатель Фернандо стрелял в него, и он не знал пощады.

— Хусто...— Фернандо хотел еще что-то сказать.

— Молчи! — Хусто сжал кулаки.— Ты стоишь на чужой земле. Запомни же, завтрашняя Испания тоже чужая тебе.

И прежде чем он сделал шаг по мягкой лесной земле, прикрытой мертвыми листьями, Фернандо повернулся и пошел. С минуту шел, тяжело склонив голову, как в тот вечер по каменным ступеням гегитскомиссариата, и растаял в воздухе, уже пахнувшем зимой.

Тереса уходит. Походка шаткая, слишком медленная, и кажется, Тереса не уверена, все ли в самом деле закончено там, откуда уходит. Вид у нее такой, словно хочет оглянуться, но что-то сдерживает ее. До двери идет как-то боком, и Хусто видит ее профиль. Щека ее вздрагивает, и он понимает: Тереса плачет. Не потому, что уходит совсем, на фронт,— она плачет о нем. Как хорошо было им в тесной и низкой мансарде шестиэтажного дома у Северного вокзала. Вчера бомба прошла этот дом насквозь. Тереса поддерживает за плечи старушку в черной шали. Старушка навестила сына, Хуана, того бойца с забинтованной головой, которого вчера утром принесли санитары и положили на койку рядом с койкой Хусто. Старушка эта из Карабанчеля. У нее тоже нет уже дома. Мятежники и мавры взяли Карабанчель, подтверждает она. Старушка умолкает. Молчание долгое и скорбное, и по лицу видно, она опять в Карабанчеле. Потом возвращается сюда, в палату. «Но это случилось после

того, как они перебили всех мужчин, всех женщин, всех детей. Смотрите, и у меня их знак,— показывает кинжальную рану выше запястья.— Я пошла на них с топором. Только топор и оказался под рукой». Весь вечер, хватаясь за грудь, кричал сын ее, Хуан. Снарядный осколок разворотил ему легкие. Столько раз вонзала сестра шприц в его руку! Но боль утишилась, и на бледном лице, покрытом потом муки, подобие улыбки, и в улыбке этой, выражающей облегчение, живет и надежда. Хуан не догадывается, что умирает. Мать Хуана уходит. Возможно, видит его в последний раз. Тереса тоже уходит. Обе женщины уже у двери. Они не сразу открывают ее...

Хусто двигался по обочине шоссе, почти спокойный, почти безразличный ко всему, что могло с ним еще стрястись. Его догнал обер-фельдфебель, пожилой немец, в спину его, как горб, врезался ворсистый тугой ранец. Он тоже шел в какую-то часть, расположенную здесь, в тылу. На развилке расстались. Он помахал Хусто и пожелал счастливого пути.

Хусто поглядывал то вперед, то назад в протянувшееся в обе стороны шоссе, оно уходило в белесую даль, холодную и чужую. Попутные машины не появлялись. Километрах в семи, помнил Хусто, должен находиться городок, обозначенный на карте двумя кружками, одним побольше, другим поменьше внутри него. Через этот городок лежал путь в Теплые Криницы. Хусто медленно, словно нехотя, тронулся в направлении, куда показывала прибитая к столбу стрелка.

Он шел долго, может быть, потому, что медленно, в голову приходили трудные мысли и замедляли шаг. Наконец дорога вывела Хусто на искверканный асфальт, и он понял, что здесь была улица. Он оказался в городке, в бывшем городке, название которого сохранилось на картах, как на кладбищенских надгробьях остаются имена тех, кого уже нет.

Хусто знал, что городок этот разрушили в первые дни войны сначала бомбы, потом артиллерия. Но оттого, что миновал год, что сквозь щебень и пепел успела пробиться трава, вид развалин не становился мягче. Вокруг бессмысленное нагромождение камней, из которых были когда-то сложены здания. Камни эти уже не хранили тепла. Камни были мертвы. «Камни могут быть живыми,— подумал Хусто.— Города совсем не похожи один на другой. Руины же все на одно лицо...» Раньше не представлял он себе стертый с лица земли город, когда, бывало, слышал об этом, теперь он не мог представить себе живым этот городок, который еще год назад радовался, страдал, шумел парками на этом самом месте.

Он шел, натываясь на груды ломаного кирпича, на каменные глыбы, вырванные из стен, на поблескивавшие лужи битого стекла, на поваленные столбы, запутавшиеся в скрученных проводах. В одном месте тротуар и мостовую перегородили холмы щебня, и пришлось взбираться на них. Носком сапога зацепился за железную балку и чуть не растянулся плашмя.

Перед ним лежал убитый город.

Когда-то разрушенная стена здания в Мадриде, изрешеченный пулями трамвай, девочка с осколком бомбы в голове, уткнувшаяся в мостовую, приводили его в отчаяние. Сейчас он пробирался через сплошные развалины, и ему казалось, что к той разрушенной стене добавилась еще одна, еще две, еще пять, еще и еще,— все стены города.

Он внезапно остановился. Он увидел выщербленные плиты ступеней. Дома не было — о нем напоминали кучи кирпича и бетона, искромсанной штукатурки. Сохранились только эти ступени, по которым уже некуда было подниматься. Он присел на предпоследнюю ступень. На противоположной стороне улицы, как театральные декорации на сцене, на которую еще не вышли актеры, торчали две стены с розовыми обоями в узорах. Между стенами валялись отопительные батареи, из щебня высовывалась железная спинка кровати, как мосток, лежала дверь. Воронки казались незасыпанными могилами.

Здесь все мертво. И был ли здесь когда-нибудь живой человек? Или он первый вошел в эту густую тишину пустоты, в которой, казалось, и воздуха не было? И есть ли за этими развалинами что-нибудь другое или это замкнутый мир, весь мир?.. Он вдруг подумал о себе, как о мертвом.

Ветер хлестнул в спину, загремел скользящим куском крыши, поднял в воздух белую пыль, это улетала отсюда известь. Ему стало страшно одному в этом бывшем городке. Он вскочил со ступени и побежал. Сапоги стучали так громко, что казалось, еще кто-то бежал, вслед за ним, и он оглядывался. Он не заметил, как снова выбрался на дорогу. Обрадованно увидел деревья, одинокие домики вдалеке, воробьев на проводах. Он вспомнил, что там, в мертвом городке, и воробьи не летали, ни одной птицы не видел, пока находился среди руин.

Но городок все время стоял перед глазами. Он снова и снова присаживался на каменные ступени, слышал, как гремит ветер куском железной крыши, видел в воздухе белую пыль. Он шел лесом. Компас вел его в Теплые Криницы, на хутора, где ждал его связной. Он шел и думал о тех, с кем пустился в длинную и трудную дорогу, в конце которой, знал он, занималось большое утреннее солнце.

В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ

Кастусь выехал с проселочной дороги на шоссе.

Шоссе, развороченное, все в ухабах, со следами танковых траков, уходило вдаль, темное от воды, словно прошедший вчера дождь оставил непросыхающий след. Лошадь бойко переби-рала ногами, над крупом поднимался легкий пар.

Утро медленно разрасталось, мутное, холодное. Вдоль дороги, как солдаты в две шеренги, стояли навтыжку сосны, потом на-встречу выглянули кусты и присели у самых обочин.

Кастусь сунул вожжи под себя, достал из кисета табак, заку-рил. Закурив, как всегда, сильно зашелся кашлем.

— Дымочод твой уже не справляется,— шутиливо сказал Ки-рилл.— Ишь, свело как. На леденцы, братец, переходи.

Он сидел, спустив через грядку ноги, рядом — Ивашкевич, по другой бок телеги — Михась и Паша. Паша широко развалился, и высоченный, волосатый Михась вынужденно сжался, обхва-тив жилистыми волосатыми руками колени. Все были в поно-шенной крестьянской одежде, только у Михася и Паши на ру-каве повязка со свастикой и автомат за плечом.

Спереди и сзади, тоже в направлении Лесного, тянулись по-возки, по несколько человек в каждой, в некоторых сидели по-лицаи, их сразу можно было узнать: нарукавная повязка и ав-томат, как у Михася и Паши. Прижимаясь к обочине, шли пе-шие.

Кирилл, уже неделю не бритый, усмехался, представляя себе, какой он сейчас — в ватнике латанном-перелатанном, порыже-лых от времени холщовых штанах, вобранных в сбитые сапоги, и в проплешинах, сползающая на затылок заячья шапка... Он ткнул локтем Ивашкевича в бок:

— Посмотрели бы на нас наши бабы, а? Вот хохоту... Ну, ни дать ни взять — голода. Смотри, комиссар, штаны у тебя моих дырявей, как бы чего не выронил... Тогда пропал мужик!..

Ивашкевич привык к грубоватому прямодушию Кирилла. Все в отряде, когда он был рядом, чувствовали себя уверенней, даже плохое выглядело как-то лучше.

— Ну, братец, попразднуем, а? — сверкнули лукавые искор-ки в небольших голубоватых глазах Кирилла.

— Думаю, да. Но что, сволочи, задумали?

Ивашкевич размышлял о сообщении Сариновича, помощни-ка бургомистра. «Этот. Саринович пока доносит отряду все, что творится в зоне. Бойтся, подлец, не оказаться бы на суку. Пока служит исправно. Вот и об этом донес...» Немцы решили устро-ить торжественное собрание в связи с двадцатипятилетием Ок-тябрьской революции. Собрание — сегодня, седьмого ноября, в

бывшем районном центре, в Лесном. Селение это, знал Ивашкевич, большое, церковное, между Снежницами и Дубовыми Грядками, ближе к Дубовым Грядам. Сам он там не был, не пришлось. «В чем тут умысел?» — не мог понять Ивашкевич. Провокация? Посмотреть, кто явится, и схватить? Гестаповцы не простодушны и понимают, что в условиях оккупации никто на такое легальное собрание не придет. Неспроста же немец-бургомистр приказал старостам привезти в Лесное представителей окрестных деревень. «Что-то гитлеровцы затеяли. Но что?»

— Мотни-ка малость вперед,— сказал Кирилл Кастусю в спину.

— Но-о! — Кастусь швырнул окурочек, натянул вожжи.— Но-о! Лошадь дернулась, все качнулись назад, будто их ветром пригнуло.

— Под тебя, Паша, одного лошадь надо,— улыбнулся Ивашкевич, глядя, как тот с трудом принимает ровное положение.— И тяжелый же!.. Костей много.

— Человек тяжелый не оттого, что костей много,— хмыкнул Кирилл.— В нем дерьма много. Вот почему человек тяжелый.

— Есть, Паша, надо меньше,— с нарочитой укоризной сказал Ивашкевич.

— А что делать! У других талант, а у меня аппетит.

Кастусь обогнал несколько передних телег, Кирилл и Ивашкевич вглядывались в ехавших.

— Не терпится? На праздничек? — выкрикнул из повозки, набитой сеном, долговязый дядька с вытянутой шеей. У него был цыплячий вид.

— А то ж! — насмешливо отрезал Кирилл.

— Давай, дылда, поторапливайся,— угрожающе потряс Паша кулаком, и на рукаве дернулась свастика, будто двинулся паук.

Долговязый взмахнул кнутом, и его повозка гулко затарахтела по шоссе.

— Вон,— глазами показал Кирилл Ивашкевичу.— Едут.

Ивашкевич посмотрел на большую пароконную телегу, он с трудом узнал переодетого секретаря подпольного обкома партии Лещева. Увидел он и худощавого майора, который тогда, ночью, пришел за ним, Кириллом и Пашей на пост у Верхов, куда привел их лесник Кузьма, после того, как отряд выбросился в Синь-озерских лесах. Майор был теперь в длинной румынской шинели, в кепке, насунутой на самые уши. И тот, крутолобий, докладывавший на заседании обкома о вооруженности партизанских отрядов, сидел между Лещевым и майором. С ними — пожилые люди, бородатые. А в телеге, запряженной крепкой парой вороных и катившей немного впереди, наклонив

голову, сидел Масуров, в бобриковом пальто, в шапке. У юношей и девушек, ехавших с Масуровым, были веселые, озорные лица.

— Привет, молодежь! — помахал Кирилл рукой, когда Кастусь поравнялся с ними.

— Старикану почет! — отозвался горячий девичий голос.— А осади! Не перенимай дорогу. Сшибем!

— Я те сшибу! — окрысился Паша.— Я с тебя подол сшибу!

— Э, девка, поберегись,— захохотал Кирилл.— Он на это дело мастер.

— Таких мастеров видывали,— не отступала девушка. Голос ее звучал еще задорливей.

Обе телеги неслись рядом.

— Э, Паша. Тут наша не взяла,— сдавался Кирилл.— Ладно, давайте первыми,— кивнул тем, в пароконной телеге.

Кастусь попридержал лошадь.

— Гони, слышь, своих дьяволов! — Телега с молодыми пронеслась мимо.— Ишь врзую пустил... Гладкие, дьяволы, как молоком мытые...

Впереди уже показалось Лесное. Виден был купол церкви, выраставший из рощи, поодаль проступали очертания Дворца культуры.

Шоссе постепенно входило в селение, разделяя дома на две стороны, и становилось улицей. И улица вела на площадь, к Дворцу культуры. На площади грудились повозки с распряженными лошадьми.

Кастусь остановил лошадь. Все соскочили с телеги, прошли мимо двух полицаев, стоявших у входа.

Лещев и те, что прибыли с ним, протиснулись в середину зала и заняли свободные места — почти ряд. Люди входили группами — должно быть, дальние; входили по двое, по одному — здешние. Вид у многих растерянный, недоумевающий. Сиделись как-то непрочно, неуверенно и смотрели на пустую, ярко освещенную сцену. Постепенно стало тесно, входившие уже не могли найти себе места и останавливались в проходе, толпясь и толкаясь. В воздухе носился табачный дым, смешанный с кислым запахом самогона.

Лещев огляделся. Масуров с юношами и девушками, увидел он, уселись ближе к сцене, почти у самой трибуны, а далеко позади пристроились на скамье у стены Кирилл и Ивашкевич. Возле входа стояли Михась и Паша с автоматами и нарукавными повязками. Лещев поискал глазами еще кого-то, нашел. «Все так...» И стал ждать.

Он видел, как на сцену вышел бургомистр, спокойный, рослый немец в мундире офицера, с железным крестом, в сапогах из сплошного блеска.

— Хайль Гитлер! — резко выбросил он руку вперед.

— Хайль,— глухо откликнулось несколько голосов.

За бургомистром шел Саринович, маленькую свою голову на длинной шее, будто надета на палку, держал он прямо. Почти рядом с Сариновичем шагал невысокий плешивый круглый человек с белым лицом, в темном парадном костюме, он улыбался как бы самому себе. За стол президиума, неловко переминаясь с ноги на ногу, сели еще двое — в стеганых куртках, в крестьянских сапогах.

Бургомистр весь в свету легонько побарабанил пальцами по столу.

— Внимание, господа,— гортанным голосом внятно произнес он по-русски.— Победоносная германская армия разбила Красную Армию и принесла вам долгожданное освобождение от большевиков.— Он торжественно вытянулся во весь рост.— Германская администрация решила именно седьмого ноября дать населению возможность отметить радостное для всех событие — крушение Октябрьской революции. Свободу дала вам Германия. Хайль!

Бургомистр прищурился.

— Господин Чепчик, ваши соотечественники ждут вас... Господин Чепчик!

Он послушно вскочил, господин Чепчик, важный, с лысиной во весь череп толстяк в темном парадном костюме. Он все еще улыбался.

«Чепчик? — Лещев никогда раньше не встречал этого человека и фамилию эту ни разу не слышал.— Кто бы это?..»

А тот подошел к трибуне, солидно откашлялся, слегка откинул голову назад.

— Господа! Позвольте передать от всех вас великую благодарность фюреру, его непобедимой армии...

Чепчик оглянулся на бургомистра. Тот поощрительно кивнул ему.

— Справедливость наконец восторжествовала,— блеснула гладкая, будто лаком покрытая голова Чепчика.— Справедливость принесла нам победительница германская армия. Для нас с вами уже наступает эпоха благоденствия. Недалек час, когда вся Россия свободно вздохнет. Советская власть, в сущности, уже лишена армии, а без армии нет и власти. Скоро мы протянем руку братьям нашим, которые еще отделены от нас линией фронта.— Он кашлянул, продлил паузу. Свет лампы падал прямо на его слишком белое, как у покойника, лицо.— Но Совет-

ская власть еще силится помешать нашей радости, нашей свободе, и ее агенты подбивают несознательных идти в партизаны. Остановитесь! — театрально воскликнул он. — Остановитесь, пока не поздно, должны мы им сказать. Мы должны внушить им, что место их с нами. Долг каждого из нас — помогать германскому командованию бороться с партизанами, выдавать их. Даже один партизан представляет серьезную опасность, один он может взорвать эшелон освободителей...

«Ай, Чепчик», — усмехнулся про себя Лещев. Он еще раз посмотрел на дверь. Паша стоял на месте, твердо расставив ноги; руки, поигрывая, лежали на автомате, висевшем на груди. Лещев с облегчением вздохнул: все, значит, в порядке. «Так что еще говорит этот Чепчик?»

— Да, мы еще переживаем кое-какие трудности, война есть война. Мы должны работать не покладая рук. Нам приходится многое отдавать воюющей армии. Наша молодежь едет на германские предприятия... Это жертва, которая окупится сторицей!

Масуров повернул голову, взглянул на Лещева. Тот вынул носовой платок и медленно, как бы привлекая этим чье-то внимание, стал потирать лоб. И через минуту двое, сидевшие с Масуровым возле трибуны в самом конце ряда, выбрались в проход, забитый людьми, потом, нагнувшись, чтоб никому не помешать, скользнул туда третий, это Лещев еще видел. Но как эти трое и несколько других вместе с Масуровым ворвались на сцену и оставили револьверы на бургомистра, на Сариновича, на Чепчика, на тех двух, в стеганых куртках и крестьянских сапогах, как обыскали их, вынули все, что было в карманах, и положили на край стола, как на ступенях, ведущих на подмости, оказался Паша, уже без нарукавной повязки, предупреждающе описывавший дулом автомата полукруг, он и не заметил. Он услышал неровный шум в зале, увидел, как многие испуганно вскочили с места. Он вздрогнул, со сцены вдруг сорвался надрывный, визгливый крик.

— Фогель! — Это заорал бургомистр. — Фогель! Вы ослепли! Черт бы вас побрал, где вы? Вы оглохли? Фогель!..

Лещев быстро поднялся на сцену. На ходу успел услышать:

— Ручки, ручки повыше, господин бургомистр, тогда Фогель непременно вас увидит.

— Не-э,— хохотнул Паша. — Сидит Фогель в кутузке, и штаны на нем трясутся.

Лещев уже стоял у трибуны.

— Товарищи! — Лицо его раскраснелось от напряжения. — Товарищи! Спокойно,— подался он корпусом вперед. — Прошу сесть.

В зале все еще чувствовалось смятение.

— Товарищи! Лесное сейчас в наших руках. Сто советских автоматов в самом селении, вот тут,— показал рукой на видневшуюся в большом окне улицу.— И два раза столько вокруг селения. Армия!.. Связь с Лесным контролируется нами. Все въезды и выезды перекрыты. Гитлеровцы и полиция арестованы. Потом дадим им толк...

Он помолчал, как бы давая людям вникнуть в то, что сказал.

— Все в порядке, товарищи,— энергичным жестом подчеркнул Лещев свои слова.— Собрание, посвященное годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, продолжается.— Улыбнулся: — Вернее, начинаем.

Гул в зале медленно опадал, люди недружно снова занимали места.

— Здесь собрались советские люди, ограбленные, измученные захватчиками.— Голос Лещева наливался силой.— Собрались в великий день. Праздник наш встречаем в жестоких условиях войны, у врага в тылу. На глазах у врага, который уже считает себя здесь хозяином.— Он подошел к бургомистру, стоявшему у стола президиума с поднятыми руками.— Дело, как видите, приняло неожиданный оборот,— сказал ему.— Для вас неожиданный,— произнес громко, чтоб слышали все.

Из глубины донеслось:

— Цопче держи его, сукина сына!

Еще, откуда-то сбоку:

— А с немца глянца-то спала...

— А, бургомистр? В штаны наклал?..

Потом стало тихо. Но тишина, казалось, была еще полна голосов — яростных, насмешливых, которые только что здесь раздавались.

— Слышали? — кивнул Лещев на зал. Он смотрел на бургомистра в упор.— Железный крест я вам оставляю. Не сомневаюсь, что заслужили его. А вот оружие,— взял он пистолет, лежавший на краю стола,— извините. Когда оружие у меня — я солдат, а когда у вас — вы убийца. Но войну вы кончили.

Бургомистр вскинул голову:

— У меня войну вы выиграли! Я попался вам в руки. А у Гитлера не выиграете!

— Выиграем. Но вы этого уже не узнаете.

Лещев повернулся к Чепчику.

— Чепчик! — Тот испуганно дернулся.— Послушайте, Чепчик, скажите народу, откуда вы взялись?

— Знаете...— Лицо Чепчика приняло выражение примиренности с тем, что произошло.— Я ведь по необходимости,— заикаясь и улыбаясь, лепетал он.— Что мне с ними, с немцами?

— Такое мы уже слышали.— Лещев почувствовал прилив злости.— Я спрашиваю, откуда вы взялись?

Чепчик склонил голову. Лещев опять увидел плешивый череп с черными кудряшками на затылке.

— Я адвокат. Из Мюнхена.

— А! Из Мюнхена? Верно, соотечественник...

Лещев перевел глаза на тех двух, в стеганых куртках и крестьянских сапогах.

— А вы кто?

— Староста.

— Староста.

Лещев махнул рукой:

— Уведите их всех.

Бургомистра и остальных повели к выходу.

— Цопче, цопче держи их, сукиных сынов! — снова крикнул кто-то.

В ближнем ряду поднялся плотный, усатый мужчина.

— А пан кто такой будет? — недоверчивым голосом спросил Лещева.

— Вас это интересует? Так слушайте. Пан будет секретарь обкома партии. Ясно? Партии, которая руководила до войны, руководит сейчас и будет руководить после войны. Вас устраивает, кто такой пан будет? — Усатый не понравился Лещеву. «Предатель? Просто трус? Есть люди, которые присаживаются рядом с нами, смотрят на нас, слушают нас, смеются, когда говорим смешные вещи, любят наши праздники. Но никогда не дают нам хлеба, когда мы голодны, не плачут с нами, когда у нас беда...» — подумал он.

Усатый с достоинством сел на место, и Лещев как бы потерял его.

В проходе, возле подмостков, раздался вызывающий смехок:

— Спектаклю устраиваешь? А нам тут делать чо?..

— Как — делать чего? — не понял Лещев. «Еще один?..»

— Чо задерживаешь? — затараторил тот же голос из прохода.

— Пришел, так не торопись, — отрезал Лещев. — Не торопись...

Тот еще что-то пробормотал.

— Постой, да у тебя язык во рту путается.

— Почему это — путается?

— Длинный. А соображать надо.

Голос из прохода не унимался:

— У тебя, выходит, голова, а у других веник?

— Послушай, голова, давай сюда, — уже сердился Лещев. — Подойди ближе.

Паша хотел было сойти со ступенек и выволочь из прохода кричавшего. Но тот сам отделился от остальных и сделал неуверенный, кривой шаг нетрезвого человека. Паша узнал его: дылда! Теперь, когда долговязый двигался, вид у него был еще более цыплячий.

— Вишь, дурак ступает,— хихикнули.— Ему сейчас лес ниже озими...

— Так у тебя и ноги путаются,— засмеялся и Лещев.

— Путаются,— вяло согласился долговязый.— Вы уже дозвольте, пан-товарищ, я присяду,— покорно попросил он и беспомощно опустился на пол у стены.

В передних рядах громко рассмеялись.

Лещев смотрел в зал. Кирилла и Ивашкевича уже не было, на их местах сидели другие. «Как там у них идет дело?» — подумал он.

Кирилл и Ивашкевич вышли на площадь. Они увидели Кастюся. Тот сидел в телеге, спустив ноги, курил. Распряженная лошадь, привязанная за недоузок к телеге, жевала сено.

Михась повел их к двухэтажному зданию управы. Поднялись по ступеням. Несколько молодых людей с автоматами топтались у входа. Михась толкнул дверь, Кирилл и Ивашкевич оказались в небольшой комнате, разгороженной широкой перекладной. За перекладной у телефона сидела девушка. А! Та, озорная, которая грозилась на дороге сшибить их!

— Привет, молодежь! — поднял Кирилл руку, напоминая ей встречу на шоссе. Девушка застенчиво улынулась.

В следующей комнате на столах грудой лежали черные немецкие автоматы, диски, пистолеты, в углу валялись гимнастерка с пятнами крови, смятая фуражка с высокой тульей, ремень... Наслеженный пол покрыт корками ссохшейся грязи. Посредине комнаты у длинного стола на тумбах перед крутолобым и майором у длинной румынской шинели — бургомистр, Чепчик, Сариневич и старосты. Их допрашивали. Кирилл и Ивашкевич опустились на табуреты, стали слушать. Сариневич умоляюще взглянул на Ивашкевича. Ивашкевич отвел глаза. Потом, пожав плечами, сказал крутолобому:

— А с этими, по-моему, все ясно,— показал на Сариневича и старост.

— Да,— понимающе согласился майор.

Михась едва стащил старост со стульев. Сариневич поднялся сам, слышно было, как дрожали его длинные, костлявые ноги, выпученные круглые глаза испуганно блуждали вокруг, будто искали чего-то.

— Пошли,— вскинул Михась автомат.

Двинулись — Саринович, за ним старосты.

— Мы пройдем на участок шестой группы,— сказал Кирилл.— Надо посмотреть. Не все там у шестой гладко, донесли хлопцы.

— А что? — всполошился майор.

— А вот узнаем...

Шестая группа автоматчиков занимала участок возле церкви. Лещев поручил Кириллу направлять эту группу. «Боевые хлопцы»,— сказал он.

Вернулся Михась.

— Давай, Михась, пошли,— сказал Кирилл.

Вышли из управы.

— Куда девали Сариновича? — спросил Ивашкевич Михася.

— Всех заперли в школе. Сариновича и этих. Под охраной. Как приказано.

— Ладно, что старосты подвернулись,— обратился Ивашкевич к Кириллу.— Не одному Сариновичу удастся сбежать от кары. Подозрений не будет. Пока, подлец, из страха служит нам. Сообщил же об этой затее немцев...

— Да черт с ними, со старостами и Сариновичем! — Кирилл думал о другом: «Что ж там, у шестой группы?» — Давай быстреей, Михась.

Михась дважды побывал у церкви и вел коротким путем — боковыми улицами. Автоматчики, прижавшиеся к стене левого придела, увидел Михась, жестами показывали, чтоб они свернули за ограду. Свернули за ограду. Потом передвигались к автоматчикам вдоль стены цепочкой.

— Что тут у вас? — Голос Кирилла строг.

— Что тут? — От стены отодвинулся молодой партизан в шапке и плаще, старший группы.— А фрицы на колокольне.

— Ну. А дальше?

— Что дальше? Молчат, не стреляют. Боятся или выжидают чего... И мы пока не стреляем. Чтоб шуму не наделать. А то услышат там, и собрание у вас разбежится,— ухмыльнулся партизан в шапке и плаще.

— Надо б тихонько разведать,— сказал Кирилл,— что там на колокольне.

— Шесть-семь немцев. Спрятались на звоннице. Пулемет. Подпилили и обрушили фрицы лестницу.

«Ну, шесть-семь немцев. А дальше? — произнес Кирилл про себя.— Не открывать же огня, чтоб во Дворце культуры услышали. Верно сказал хлопец, разбегутся же...»

— Попробуем схитрить,— понял Ивашкевич затруднение Кирилла.— Попробуем схитрить. Уйдем отсюда. Пусть видят,

что уходим. Может, сами спустятся, а ребята караулить будут...

«Дело»,— подхватил Кирилл мысль Ивашкевича.

— Старший! — приказным тоном произнес он.— Нечего ангелов караулить. Никого здесь нет. Разведчик же подтвердил: никого.

Партизан в шапке и плаще смотрел на Кирилла недоумевающими глазами.

— Вся группа на площадь,— громко потребовал Кирилл. Видно было, говорил он, думая другое.

Старший смекнул, должно быть. Крикнул:

— Ребята, пустой номер! За мной!

Через минуту все двинулись по открытой улице. Те, с колокольни, могли следить за ними. «В спину бы не саданули,— подумал Кирилл.— Да нет, хватит ума не связываться». Обогнули рощу, примыкавшую к церкви. Кирилл приказал партизану в шапке и плаще и другому, тощему, чуть позже вернуться, притаиться в роще, у церковной сторожки, и наблюдать за колокольней.

А когда Лещев закроет собрание, размышлял Кирилл, и пока группа крутолобого и майора будет разделяться с гитлеровцами и полицаями, которых захватила, он покончит с этими. Может быть, и в самом деле немцы подумают, что партизаны обманулись и ушли, и спустятся с колокольни. «А смыться в занятом и окруженном Лесном некуда». А не спустятся, что ж! Гранаты...

Подходили к площади.

— Патрулируйте. А чуть что, дайте знать. Я у самых дверей буду,— сказал Кирилл.

Кирилл и Ивашкевич поднялись по ступеням Дворца культуры.

Они вошли в зал.

За столом президиума сидели теперь два бородатых человека, которых Кирилл и Ивашкевич заметили в телеге с Лещевым, тоненькая девушка с откинутым на плечи платком и чубатый парень, ехавшие с Масуровым.

Лещев, разгоряченный, стоял у трибуны. Он видел внимательные, сосредоточенные лица. И лица были так замучены, горе так перекосило их, что, кроме страха, казалось, они ничего не выражали. Чем может он утешить этих людей? Надеждой? Что может предложить им? Только войну.

— Армия наша от нас за сотни километров,— говорил он,—

но оттого земля эта не перестала быть советской. И здесь, товарищи, идет война, которую гитлеровцы принесли нам. Линия фронта — каждая деревня, каждая хата. Пусть чувствуют захватчики силу, которую дала нашим людям революция. Пусть чувствуют гнев наш, ненависть нашу, рожденную любовью к социалистической Родине.— Голос его, приподнятый, крепкий, и приказывал и призывал, он сам, как бы со стороны, уловил это.— Нас не остановить, если гитлеровцы даже удвоят и утроят пытки, разбой, издевательства.— Он спохватился, что все время смотрит в скорбное, болезненное лицо женщины в черном полushалке, сидевшей близко, как раз против трибуны. Может быть, глядя на нее, он и заговорил о пытках, разбое, издевательствах.— Тесно уже становится в наших лесах. Месть приводит туда патриотов. Завтра многие из вас,— широко обвел он рукой молчавший, словно никого не было, зал,— самые верные, самые лучшие из вас тоже возьмутся за оружие.

Он волновался, дрожали руки, дрожал голос, словно впервые оказался во главе собрания и не знал, как подойти к концу. Ему и не хотелось, чтоб кончилось это собрание, понял он. Он говорил один. Один? Нет, нет... «Все говорят. Глаза говорят. Тишина говорит». Он все равно никому не дал бы слова, даже если б и отыскался смельчак. «Повесят же потом...»

И все-таки надо кончать это собрание, необычайное, полное опасности. За стенами — враг.

— Вы ведь хотите гибели врагу? — Лещев не спрашивал, он утверждал. И все-таки хотелось услышать, что скажут эти люди, впервые с тех пор, как сюда пришли захватчики, собравшиеся вместе.

Тишина. В напряженном ожидании смотрел Лещев в зал. Смотрел, как в глаза слепого,— теперь тишина пугала. Нарастая, она грозилась подавить его.

— Да! — услышал он.

В грудь словно ударило что-то жаркое и радостное. И, поддаваясь порыву, он возбужденно поднял руки, сжатые в кулаки.

— Вы ведь хотите снова видеть нашу землю свободной?

— Да, да!

— Вы ведь хотите скорого и победного конца войны?

— Да!

— Тогда — бороться, бороться, бороться! — Два стиснутых кулака гневно ходили над головой.— Пусть огненной и горькой будет для врага земля наша! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!

Все встали, словно ворвалась буря, аплодировали.

«Совсем как бывало»,— горящими глазами смотрел Ивашкевич.

На лице Кирилла от волнения резко проступили скулы. Он взглянул на часы.

— О, братец, уже двенадцать часов пополудни. Когда-нибудь, после войны, вспомним, как провели мы этот день в двенадцать часов пополудни,— чуть слышно, будто самому себе, произнес Кирилл.— Ладно, оставайся, жди Лещева,— заторопился он.— А я к церкви. Надо кончать там.— Он быстро вышел.

А Лещев сделал шаг и остановился. Он услышал, кто-то запел:

Это есть наш последний...

Тотчас со всех сторон стали подтягивать, шире, шире, выше, громче, еще минута — и сотни голосов, казалось, слились в один торжественный, грозный голос, будто великан исторгал из глубины сердца своего любовь, и гнев, и веру в будущее, которое уже ясно видел.

Лещев хотел подхватить мелодию и не смог. К горлу подкатил твердый комок, его не проглотить, он задушит, если сейчас же что-нибудь не предпринять. Тяжелой рукой сжал Лещев горло, пытаясь вытолкнуть из себя этот комок. Но уже стеснило и грудь. Слезы? Беспомощный, потрясенный, стоял он посреди сцены.

А люди пели. Казалось, что-то огромное и властное потрясло всех и пение не кончится никогда. Как высокая волна, от стены к стене, снова прошло по залу:

Это есть наш последний...

Лещев почувствовал, что освобожден наконец от чего-то трудного, почувствовал горячие капли на щеках и вместе со всеми сильно, до боли в сердце пропел:

И решительный бой...

СОЛНЦЕ ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ...

— Ахтунг!

Гулкий голос перед самой камерой. Тяжелые сапоги остановились. И трое в темной камере настороженно прижались к стене.

Потом долгая минута ожидания: что еще?.. Что могли бы значить эта команда, топот сапог, оборвавшийся у двери?

Ржаво громыхнул засов, толстая, обитая железом дверь тронулась и врезалась в полумрак камеры. Конвоиры скорее ворвались, чем вошли туда, с привычной ловкостью скрутили за-

ключенным руки за спину и крепко связали веревкой. Потом вывели в коридор.

— Ахтунг!

Конвоиры пропустили их чуть вперед.

Тот, кто отдавал команду, шагнул первым, за ним потянулись заключенные и конвоиры с автоматами наизготове. Шли по коридору, длинному, узкому, будто стены сдвинулись и грозились сдавить всех. Две горевшие под потолком лампочки, зарешеченные, похожие на пыльные груши, окрашивали стены, лица в сизый цвет, и оттого все казалось холодным и мертвым. Спустились по лестнице, огороженной сверху до низу стальной решеткой, и вышли на тюремный двор. Сухой снег скрипел под ногами, будто хрустело раздавленное стекло.

Трое со связанными руками, словно сговорились, глубоко вдохнули морозный воздух. Они увидели перед собой грузовик с темным металлическим кузовом, похожим на высокий ящик. И еще успели заметить слева, совсем близко, приземистое дерево. Высушенное стужей, оно протягивало им свои кривые, твердые руки, обложенные снежными хлопьями.

Заключенные молча взглянули друг на друга.

— Ахтунг! — услышали они в третий раз.

После нескольких минут снежного света, ослепившего глаза, они снова оказались в давящей полутьме: их затолкали в закрытый кузов с коротким окошечком, заделанным железной сеткой под самым верхом. С громким стуком захлопнулась тяжелая дверца, и машина двинулась.

Федор присел на корточки, упираясь запрокинутой головой в переднюю стенку кузова, связанные сзади руки не давали привалиться к ней спиной. Он догадался, что машина повернула от тюремных ворот направо и катила прямо, потом левой поворот и снова прямо, еще раз влево... «На базарную площадь, — подумал он. — Дорога туда. А больше и некуда». Он ясно представил себе улицу, на которую, думал он, вынеслась машина, словно свободный, как бывало, шел сейчас по ней. Вот поравнялась машина с костелом, почти скрытым разросшимися тополями, и по обе стороны пошли одноэтажные домики... Опять направо, значит, кончился квартал — свернули как раз перед угловым трехэтажным домом с номером семнадцать. Федор закрыл глаза, припоминая обвалившийся балкон, заколоченную дверь в среднем подъезде. Не раз бывал он здесь, в явочной квартире обкома. А машина катила дальше. «Конечно, на базарную. Больше некуда...»

Он был спокоен. В последние дни им окончательно овладело спокойствие, то каменное спокойствие, которое ничего сквозь себя не пропускает. И он был прочно огражден от страха, от всего, от надежд на спасение тоже. Надежды эти, возникавшие только потому, что были ему нужны и он искал их, придумывая какие-нибудь самые неожиданные, счастливые обстоятельства, теперь мешали, могли поколебать твердость, которую обрел, и он стал бы слабее. Нет, о спасении он не думал, его и быть не могло, спасения, с этим примирился еще там, в тюремной камере. Обыкновенное дело, в конце концов. Гибель на войне — дело совсем обыкновенное. И что ужасаться! Не он первый, не он последний. Все-таки дорого заплатили они за его смерть, и, умирая, он знал об этом. Не каждому солдату дано такое... «Мы квиты. Черт с вами, убивайте...» Он слышно вздохнул. Вспомнился разговор с секретарем подпольного обкома Лещевым, когда предложил поручить дело с рестораном «Шпрее» подходящему, казалось, товарищу — политически грамотный, ни выговора, ничего такого... Потом узнал Федор, что тот, испугавшись риска подпольной работы, скрылся куда-то в деревню, говорили, к теще. Наверное, сидит в эту минуту на корточках, как и он вот тут, в кузове, и топит печку в тещиной избе... «Подлец!» — презрительно подумал Федор.

Он посмотрел на Олю. Поджав колени, уткнулась она лицом в угол, пола пальто и край платья подвернулись, и в холодной темноте кузова белела открытая ее нога — кусочек стыдливой белизны жизни. «Плачет...»

— Оля,— позвал тихо.— А Оля...

Он увидел, Оля повернула голову.

— На базарную везут.— Сказал только для того, чтоб услышать ее голос и убедиться, плачет или не плачет. Почему-то именно это занимало его сейчас. «Хорошо б не плакала».

— На базарную? — Оля даже вскрикнула, удивленная.

«Почему удивилась? — не понял Федор.— Не все ли ей равно?»

— Разве на базарную? — смятенно повторила она.

Федор не откликнулся. «Значит, не плачет. Крепкая девчонка! Все будет в порядке»,— успокоился он. Ноги заныли, и он выпрямил их, задев плечо Мефодия. Тот, когда его бросили в машину, упал и растянулся между ним и Олей. Он лежал навзничь, вертелся, никак не мог улечься как следует. «Суетной...— добродушно усмехнулся Федор.— И сейчас суетной...»

— В кармане махра. Как раз на сигарку. Последнюю. А не свернуть...— сердито сопел Мефодий, и слышно было, как пы-

тался он ослабить веревку и высвободить руку.— От сволочи...— ругался он.— И покурить не придется. От сволочи!..

— Ничего, старина,— сказал Федор тихо, обыденно.— Ладно бы, конечно, подымить напоследок... Да ничего...

Федор провел языком по сухим губам, ему тоже хотелось курить. Но старался не думать о куреве. Он думал о жене, о сыне-малютке, и это увлекло его. «Все-таки надо было проводить их, хотя бы до узловой...» — пожалел он. Но он торопился в обком — срочно вызвали как раз на тот час, когда отходил поезд. Так толпились возле вагона, что и поцеловать их не смог. Еле втиснул в тамбур. Потом через окно просунул два тугих свертка, приготовленные женой в дорогу. «Едем с нами,— убеждала жена.— Какой ты там работник теперь — из тюрьмы только выбрался! Враг народа же... Кто тебе что доверит? Подумал бы...» Потом еще, уже со слезами: «И зачем тебе? Отблагодарили тебя, хватит...» Это она о трех с половиной годах тюрьмы напомнила. Что ж, было это... Наговор. Ну, разобрались. Выпустили. Федор нахмурился: «Ты путаешь идею со всякими случайностями. Вот твоя ошибка в чем. Важно знать, что тебе нужно в жизни. А еще важнее не ошибиться в выборе, что именно тебе нужно. Я выбрал. Правильно выбрал. И все остальное несущественно». Этого не сказал ей, об этом он сейчас думал. А сказал: «Езжай, езжай. Сама скоро сюда вернешься...»

Кузов тряхнуло, голова свалилась набок, и Федору показалось, что так даже удобней. «Сквер, наверно, проехали. Сейчас должна быть базарная площадь».

Половина двенадцатого. Гости начинают съезжаться. «Немцы — народ точный. Все ко времени будут за столом», — уверен Федор. Теперь минеров уже не пришлют. В этом Федор тоже уверен. Не при генералах же и офицерах, не при дамах ходить по залам с миноискателями. Днем проверяли же. Но Федор все-таки волнуется. Пять мин замедленного действия скрыты в запертых буфетах, во всех трех залах, одна мина заделана в пол, покрытый ковром, в самой середине главного зала. Шесть мин. Последнюю мину Мефодий принес в сумерки. Каждый раз его сопровождали два-три полица, а поодаль шел за ним офицер, шел как бы по своим делам. Почти у самого домика Зоси Христофоровны Мефодия останавливали, спрашивали, что несет в корзине. «Не видят, что бутылки?» Он отвечал: вино. И подозрительны же патрули в этот предновогодний день! И Мефодия вели в «Шпрее», и Федор, владелец «Шпрее», подтверждал: да, вино. И благодарил господ полицаев, охранявших его по-

сыльного. «Может, угостятся господа? Чуть... Возбраняется, служба? Спасибо, спасибо...» Молодцы партизаны! И «полицаев» подкинули и «офицеров» нарядили, доволен Федор. Уже одиннадцать тридцать пять. Взрыв — в двенадцать десять. Значит, через тридцать пять минут — смотрит Федор в угол на часы с розовым фарфоровым циферблатом. Вспомнил, что купил их за бесценку — на продукты выменял у кого-то. Часы заведены по берлинскому времени. По этому времени и будут встречать Новый год. В каждом зале на отдельном столике по приказанию организаторов вечера поставлен «Телефункен». Веселую музыку посылает сюда Берлин, усмехается Федор про себя. Входят гости, парами, группами. Гостей встречают у входа два офицера. Яркие люстры положили позолоту на белые скатерти, на приборы, на бутылки с вином, кажется, что с потолка бьет солнце. Умудрился же так поставить дело — Федор сам удивляется. Он получил крупную посуду — позаботился гебитскомиссариат. Говяжьих туши, которые по указанию обкома передавал ему партизанский отряд, как ни говори, а доход, и немалый. Да махинации кое-какие... И рестораник же!.. — любит Федор. «Нашел о чем думать! Нашел о чем думать!» — сердится на себя. Это чтоб как-то успокоиться, понимает он. А хоть бы и так! Нашел о чем думать... Внутри у него все дрожит от волнения, все напряжено, он еле передвигает ноги. Гостей уже много. За столами становится шумно. Он снова взглядывает на часы: одиннадцать пятьдесят. Оля, Варвара и Аксютка возьматься на кухне, помогают поварам, они уйдут точно без десяти двенадцать, они должны успеть отойти достаточно далеко. Сам он выскочит из «Шпрее» потом. Он знает, когда. Уже одиннадцать пятьдесят восемь. Гости наполняют бокалы. Встают. Ожидают торжественного звона из Берлина. Федор в черном парадном костюме ходит вдоль столов, весь на виду, внимательно следит за официантками — фрейленами из гестапо. Его должны видеть. Его обязательно должны видеть. Но осталось всего одиннадцать минут... Пора выбираться... «Вон там мало шампанского», — требовательно показывает официантке на край стола, басовитый голос его звучит достаточно громко. Ничего, ничего, он сам принесет шампанское. Медленно, с достоинством идет через зал. «Три минуты», — лихорадочно отсчитывает он. Проходит кухню, что-то говорит кулинару-немцу, тоже присланным гестапо, открывает дверь во двор — еще четыре с половиной минуты, судорожно чувствует он время. Он уже во дворе, погруженном в темноту, как в воду. И — рывок. Во весь дух бежит через двор. В самом его конце котельная, добежать бы до котельной, а там калитка, она отворена, а там улица, и за угол бы, успеть бы в подъезд трехэтажного кирпичного дома... Он бежит через

двор — две минуты, даже три — еще полминуты можно — секунду еще... А там калитка, задыхается он, а там улица и за углом подъезд трехэтажного дома. Скорее, скорей... Ноги дрожат, такие тонкие, такие слабые, такие ненадежные. Все — конец — все — точка — и до калитки не добежать... Он успевает влететь в подвал котельной, и яростный гром прижимает его к холодным и гудящим каменным плитам пола...

Оля охватило волнение, когда Федор сказал, что везут их на базарную площадь. Это показалось странным, даже невозможным. Но Федор больше ничего не сказал, он молча смотрел мимо нее.

А базарная площадь уже перед ней, совсем живая, настоящая, с каменной оградой, обросшей по кромке травой, хоть и поздней, блекловатой, и Оля, довольная, шла меж длинных деревянных ларей с корзинкой, думая о соли, о мыле, о спичках, которые удалось купить и выменять, особенно радовалась баранкам для дедушки Нечипора, шла к выходу, к распахнутым воротам. У ворот все и началось, в полдень, — хорошо помнила она и помнила того, носатого, с выпученными глазами немца, он оттолкнул ее от ворот: «Цурюк...» Потом вместе с другими везли ее в машине, в открытой, и она видела улицы своего города. И тогда, как и сейчас, везде появлялся Володя, такой, как всегда: чуть веселый, чуть застенчивый, чуть влюбленный. Конечно же, это он делал вид, что чуть влюблен, а на самом деле любит ее всем сердцем, она-то знает... Потом поезд, шедший в Германию, в нем тысяча советских юношей и девушек. И нападение на состав. И хмурый Янек. И ночной стреляющий лес, и Трофим Масуров в том лесу... На базарной площади, у ворот, все и началось. А теперь опять туда же?..

Она сжалась, как будто это имело значение. И удивилась, что это занимает ее. Все, о чем только что думала, как-то рассеялось, пропало. Да и думала о многом сразу, неясно, вперемишку, отрывочно, вскользь, и потому ничто в сознание глубоко не западало. Будто у нее еще останется время обо всем подумать спокойно, обстоятельно. Сейчас мысль, что везут их на базарную площадь, вытеснила все. Даже мысль о Володе.

Машина катила, подпрыгивая на ухабах.

Оля почувствовала, что ей тесно, что не хватает воздуха, как в тюремной камере. Почудилось даже, что она все еще там и кто-то бессмысленно распатывает камеру. И еще показалось, что бросили ее глубоко в ночь и она несется среди этой ночи, равнодушная ко всему. Это было не слепое, покорное ожидание, это была внутренняя примиренность с тем, что должно произой-

ти. Она приучила себя к мысли, что все это уже произошло когда-то, осталось где-то позади и теперь тяжелым воспоминанием вернулось к ней. Нелегко привыкала к такой мысли. Сначала был страх, и, обезумев, металась она по камере, и был крик, который никуда не доходил, заглушенный камнем, и мгновенные, вдруг возникавшие надежды были, такие слабые, как больная улыбка на измученном лице, и снова в сердце врывался ужас. Потом постепенно приходила ясность, утешающая ясность. Неизбежного не отвратить, и это придавало силы, и уверенность в себе уже не отступала, разве только ненадолго, ночью.

А Федор все всколыхнул в ней: базарная площадь!..

Оля попробовала пошевелить руками и не смогла, веревка цепко впиалась в запястья.

— Долго еще?

— Нет,— сказал Федор.

Ей, собственно, безразлично, долго ли еще вот так лежать в кузове. Просто хотелось говорить, чтоб не испытывать одиночества. Сейчас оно было бы особенно мучительным. Накануне, вчера, их свели в общую камеру. А три недели сидела в одиночке. Допросы, допросы. Они длились часами, допросы. Ее допрашивали чудовища, у которых и лица, и глаза, и кулаки не как у людей... Не может же человек иметь свинцовые кулаки, не может же человек разбивать человеку скулы, челюсть, переносицу... И еще сейчас колкая боль не ушла из тела и возвращала в ту длинную, мутную комнату, в которой, казалось, даже воздух причиняет боль, и плечи сами собой сжимались в ожидании удара чем-то тяжелым и острым. Вспомнила, как после допроса, истерзанная, забылась она в коротком сне и сквозь сон услышала: скреблась мышь. Быстрый шорох по цементному полу даже обрадовал ее — мышь, мышь... Рядом было живое существо, может быть, в углу, может быть, под койкой. Она открыла глаза, но в черноте камеры ничего не увидела. «Мышь побегает-побегаёт и уркнет в норку—уйдет на свободу, на свою свободу,— подумалось,— ей никто не помешает сделать это...» И еще подумалось, что в городе, наверное, уже светает и скоро опять поведут на допрос. И куда бы ее ни везли в этом мрачном кузове, ей легче, чем там, в камере и на допросах: рядом Федор, Мефодий, и самого страшного в ее положении — одиночества — не было.

Переспросила:

— Долго еще?

— Нет.

Он, наверно, понял ее, Федор. И Оля благодарно посмотрела на него. Но во мраке он не видел ее взгляда.

— Даже стен не осталось,— произнес он вдруг. Ей послышалась спокойная радость в его тоне.

Она видит, как Варвара украдкой надевает пальто, ищет глазами Аксютку, дочь. Варвара ничего не знает. Она догадывается, что затеяли что-то серьезное. Знает только: непременно, непременно уйти без десяти двенадцать, уйти незаметно, уйти подалее. С Аксюткой. А за театром, по другую сторону колонн, подождут они Олю. Варвара и Аксютка выходят во двор. Скоро выйдут и Оля. «Не одновременно же смываться всем...» И сразу у «Шпрее» натываются на офицера. Словно ждал их. В его руках вспыхивает фонарик, и Аксютка видит: офицер. Варвара дрожит от страха, Аксютка — нет: Оля сказала ей об офицере. У самого театра Оля догоняет их. И тоже в сопровождении офицера. Позади раздается грохот, будто рухнули там все дома, и, разрывая ночь, широко вскидывается вверх огонь, и уже вспыхнуло над городом небо и растопило черноту. Все безотчетно припадают к стене театра. «Здóрово!» — облегченно восклицает Оля, и вдруг ее охватывает безудержный смех. «С ума сошла!» Офицер больно сдавливает ей локоть. «Здорово же, Янек! Ты посмотри...» — захлебываясь, произносит Оля и, спохватившись, прижимает ладонь к губам. Но она уже не смеется, она плачет. «А дядя Федя? — тревожится Аксютка. Она ни к кому не обращается. — А дядя Федя?» Грозный шепот того же офицера: «Прекратить, дьявол бы вас побрал!» Топот сапог. Недалеко. В руках офицера снова вспыхивает фонарик. Оля узнает: полицаи. Они говорят: «Пошли». Оля, Варвара и Аксютка идут за ними. Офицеры, должно быть, стоят еще немного у стены театра, потом — слышно — и они уходят. А улицы, несколько минут назад еще тихие, темные, — что с ними? Похоже, по ним проносится буря, возникающая внезапно. Машины, машины, мотоциклы. Огоньки фар. Стрекот, бег, крики. Как тронутый муравейник. Оля крепко стискивает руку Аксютки. Та понимающе откликается. Так и тянет оглянуться, так и тянет, и они поворачивают голову. Тяжелыми и быстрыми валами катится в небо красный дым, и девушкам становится весело. Они уже на окраине, Оля знает. Голубые, белые, зеленые заборы, невысокие и редкие, и за ними — домики, сады. Даже темнота не может подавить это, Оле верится, что все равно видит и домики и сады, потому что помнит это, она бывала здесь не раз. На воскресниках. Память выхватывает из ночи и расцветенный парк, высаженный в позапрошлом году, и новую электростанцию за

парком. «Новая электростанция,— усмехается Оля.— Камни теперь...» Она смотрит во тьму, в ту сторону, где стояла электростанция. Резкий шепот обрывает ее мысли. «Сюда давайте». Полицай открывают калитку. Три коротких стука в окно. Потом еще два. «Здесь, женщины, переждете...» И не дожидаясь, пока кто-нибудь выйдет на стук, полицай исчезают в черном воздухе, за калиткой. Кто-то невидимый во мраке открывает дверь. Чьи-то руки втягивают Олю, стоявшую впереди, в домик, Варвара и Аксиотка вваливаются за нею вслед: должно быть, сени— как и на улице, темно. Потом они переступают порог. Тусклый свет лампы не достигает стен, и кажется, комната уходит в темную бесконечность. У стола, накрытого плюшевой скатертью, стоят Масуров, Мефодий. «Молодцы»,— шагает Масуров навстречу. Почему именно они молодцы?— не понимает Оля. Она видит, Масуров взволнован. На диване незнакомая Оле седая женщина, она бледна, щеки ее подергиваются. Нервно перебирает пальцами бахрому платка, прислушивается к окну, поднимается, снова садится. Все молчат. Такое ощущение, что и сама комната напряжена, как сильно натянутая струна. «Пойду, Зоя Христофоровна,— говорит Масуров наконец.— Пойду по цепочке. Надо встретить Федора». Федора?— вздрагивает Оля. Она вышла из «Шпрее» без трех минут двенадцать. Федор еще оставался там. Успел ли выскочить?— сжимается сердце. А если и успел, то далеко убраться не мог. Предчувствие непоправимого проникает в грудь. «Федор, Федор...» Масуров уходит. Тихо в домике и страшно. Три раза дребезжит стекло в окне и еще два раза. Зоя Христофоровна направляется к двери. Янек! На нем лица нет, видит Оля. «Плохо,— говорит он.— Федора схватили. Оглушенного, его нашли в подвале котельной. Плохо!» Дольше оставаться здесь нельзя, это ясно. «Все поднято на ноги,— говорит Янек, ни на кого не глядя.— Облава». Надо уходить. Сейчас же. Пока ночь. Все дороги из города перекрыты. На улицах патрули. Проверяют каждого, идут из дома в дом. Янек отодвигает диван, приподнимает половицу, достает автомат. «Попробуем пробраться лесом,— говорит он.— Трофим уже повел хлопцев и девчат на Дубовые Гряды». Только б выбраться из города!.. Легко сказать — выбраться из города... Это значит, бежать вдоль улицы до перекрестка, повернуть на другую улицу, кинуться в переулок, опять повернуть и бежать дальше, пересечь сквер и податься в тупик, ткнуться в ворота, перелезть через ограду и снова оказаться на улице, в гуще зданий — он и не предполагал раньше, до чего тесен город с его улицами и переулками, скверами, зданиями, заборами, калитками на окраинах... Но надо уходить, скорее уходить! Он смотрит на Мефодия, на его протез. «Ты б тут у кого-нибудь

переждал». Мефодий взъерошенно: «Я тебе, сукин сын, пережду. Пошли, говорю. Понял, нет?» Стук в дверь. Сильный, настойчивый, чужой. Зося Христофоровна вздрагивает, секунду медлит, потом идет открывать. Янек быстро кладет автомат под коврик, которым заслан диван, бросает поверх подушку. Жестом показывает Варваре, чтоб легла на диван. Поправляет на себе мундир. Мефодий забивается в угол. Аксютка и Оля — у стены, в полумраке. Они входят, офицер с серебряными «молниями» в петлицах, позади три автоматчика, в петлицах у них тоже «молнии». «Эсэсовцы», — холодеет Оля. Зося Христофоровна боком протискивается в комнату и останавливается возле Янека. Офицер недоуменно смотрит на него. «Лейтенант? Лейтенант встречал здесь Новый год? — вкрадчиво спрашивает ядовитый голос. — Все выпито, — показывает на пустой стол, — и лейтенант собирается уходить?» Янек выпрямляется: «Да, герр гауптман, — отвечает по-немецки. — Новый год. Но ничего не выпито. В этом доме ночь под Новый год — траурная ночь. В ночь на первое января, три года назад, большевики убили всех в этой семье. Кроме жены и матери, она перед вами, господин гауптман». Гауптман переводит глаза на Зосю Христофоровну. Она опускает голову. «А вы, лейтенант, из ненависти к большевикам пришли посочувствовать?» В тоне эсэсовского офицера все еще сквозит подозрительность, и это пугает Олю. «Не столько из ненависти к большевикам, герр гауптман, сколько из глубокого уважения к этой фрау. Она врач из госпиталя. Когда я был ранен, она лечила меня». Похоже, произошло впечатление на эсэсовского офицера. Пожалуйста, документы. В военное время человек без документов еще не человек, так, кажется?.. Да, врач, да, из госпиталя, — возвращает удостоверение Зосе Христофоровне. «А вон те, лейтенант? — смотрит сразу на всех. — И они из госпиталя?.. А! — изумляется эсэовец. — И вы тут, господин на одной ноге? — подходит к Мефодию. — Как же, старый знакомый из «Шпрее»... И эти славные официантки здесь? — глядит в упор на Аксютку, на Олю. Лица их в тени, и он не видит отраженного на них испуга. — О, оказывается, все «Шпрее» исполнено ненависти к большевикам...» Гауптман резко поворачивается к Янеку: «Послушайте, лейтенант. Вы не слышали, что произошло в «Шпрее»? Не слышали? Жаль! Придется рассказать вам. И им тоже. Но не здесь, конечно...» Янек невозмутимо: «Следовательно, герр гауптман, я арестован?» Гауптман: «Они тоже». Он дает знак автоматчикам. С тигриной быстротой Янек выхватывает из-под коврика на диване автомат. И Оля слышит короткий треск и грохот свалившихся на пол тел. Цепенеющим сознанием Оля постигает: такой же треск раздастся почти одновременно с очередью Янека. На

его груди расплывается темное пятно. Он успевает дать еще очередь и, выпустив из рук автомат, падает навзничь. И Аксютка лежит у стены, и с недвижимого лба стекает темная струйка, похожая на тень, она уже легла на глаза и ложится на щеки. И рука Варвары беспомощно свисает с дивана, вместо лица кровавая маска. Горячий взгляд Оли замечает на полу, возле Янека, и Зосю Христофоровну, она мертва. А по другой бок стола, неуклюже раскинув ноги, свалились два автоматчика. И гауптман, корчась от боли, шарит рукой по полу и затихает, видит Оля. А разве сама она не убита?.. Нет. До этой минуты — нет, она же все видит... А потом — удар по лицу, удар по голове, еще удар... И в глазах гаснет свет.

Его втокнули в машину, он не удержался на протезе и растянулся в кузове. Он ударился головой о высланный железом пол, и картуз отлетел в сторону. Ощущение скованности всего тела не покидало его — немы связанные узлом руки, недвижна культия ноги, на которой чуть сдвинулась деревяшка. Он прикрыл глаза, потом открыл их, все равно было темно.

— От и курить хочется,— простонал Мефодий.— Закурить от бы...

Щепоть махорки в кармане не давала ему покоя, так берет эту щепоть. «От бы покурить...»

Голове стало холодно. Он скосил глаза в одну, в другую сторону — картуза не увидел. «Шут с ним, с картузом. А и нашел бы, как наденешь?..» И не в картузе вовсе дело. Холодно голове потому, что на ней свежая рана, содрана кожа. Хлопнул же, сволочь, пистолетом по черепу... Он повертел головой, чтоб волосы легли на рану, но ничего не вышло. Было холодно.

— Шут с ним...

— Ты что, Мефодий?

— А ничего. Курить от хочется. В нутре пусто.

Слышно было, Мефодий все еще чего-то возился.

— Федор,— сказал.— А меня нести придется. Не тебе. Им. Колотушку, сволочи, с места свернули.

Федор промолчал.

Машина затормозила и остановилась.

— Все? — удивленно подумал Мефодий вслух.

«Будешь называть участников? Отпираться дальше нет смысла. Все ведь известно». Тот, кто переводит слова офицера, слегка задрав голову, сверлит Мефодия гадючьими глазками и ждет. Зеленые буравчики смотрят на него строго, с ненави-

стью, потом заискивающе, угодливо на офицера — удивительно даже, как успевает менять выражение лица. Голова маленькая, тоже гадючья, и плешивая. Мефодий так и подмывает плюнуть на блестящий кружок с седым пушком на висках и на запылке, прямо с трудом сдерживается. «А известно если, чего спрашивать?» — «Для порядку». — «А людей до смерти забивать — порядок? Мне от все ребра повыломали». — «Давай показания, бить не будут. А дашь. Обязательно дашь. И не такие давали...» Мефодий видит: немец начинает сердчаться. Чудак, — от, сказал же: заложил мины он вместе с Янеком, а чего еще говорить? Ну, Янека убили. Он, Мефодий, за двоих и в ответе. А на плешь плюнуть от как хочется!.. «Так будешь называть участников?» Уже и переводчик сердится. Мефодий бросает взгляд на одного, на другого. А пошли они!.. «А я и Янек, от и участники. Большое ли дело пару мин заложить?..» Федор, говорят, сознался? И Ольга созналась? А пусть сознаются. «Про Федора да про Олю нема чего говорить». Не то что мины с ними закладывать, — с дерьмом этим он и дростать в одной губернии не сядет... Он их в кумпанию не берет. Федор, сукин сын он. Им, немцам, служит. Народа он враг. В тюрьму потому и затолкали до войны. И девка, больше она немецкая, чем советская. Будет он с ними пароваться!.. Наши вернутся, их, стервей, непременно повесят! «Понял, нет? Переведи». Он и Янек, никто больше. «Мало тебе?» — «А еще? Другие, другие... — понукает переводчик. — Называй. Называй. Не только Федора и Олю, а всех. И где они? В городе? В лесу? Где? Говори! — переводит плешивый слова офицера. — Говори, хуже будет, господин офицер шутить не любят», — от себя, видно, добавляет плешивый. «А ты обратно переведи, что господин офицер сволочь. Понял, нет? И ты, хриstopродавец, сволочь. И это переведи. Ага. Пусть знает...» Офицер нажимает на кнопку. Входят двое. Высокие, ладные, дюжие. Мефодий вздрагивает — эти в прошлый и позапрошлый раз били. Его охватывает ощущение боли, будто уже начали выламывать ему руки, начали колоть, вонзать в тело раскаленные иглы. Над левым глазом, где должна быть бровь, еще не спала багровая опухоль. Правым глазом и увидел это в зеркале на стене, когда его вели сюда. Как и в прошлые разы, Мефодий хватают под руки и волокут в другую комнату, дверь напротив. Там и били. Он и подумать ни о чем не успевает, и — руки за спину и вверх. Раз! Что-то тяжелое бухает по ногам. Грохнув протезом, валится он на пол. «Колотушку мне перебьешь, — хрипит и показывает на протез. — Мне ходить на чем?» Он силится подняться и не может. Его подхватывают, он опять стоит. По бокам те, двое. «Говорить будешь?» — «А я сказал: я и Янек». Удар в левую скулу, голова клонится вправо, удар в

правую скулу, голова падает налево. Рот полон крови, и Мефодий, как большую слюну, сглатывает ее. С размаху — сапог в живот. Мефодий слышит свой долгий крик, слышит и потом, когда сгибается углом от боли. «Говорить будешь?» — «Я... и Янек...» Может, еще что было, но он уже ничего не чувствует...

Ночью над городом пронеслась метель. В западной стороне над куполом здания, где до войны помещался горсовет, висело дымное от мороза солнце. Полукругами, с острыми затвердевшими козырьками лежал у домов, у деревьев розоватый снег. Федор выбрался из машины. В черном костюме, который был на нем в новогоднюю ночь, покрытом теперь грязными пятнами, с оторванным у плеча рукавом, в нарядных, но уже искорверканных туфлях, в шапке истопника, схваченной с вешалки, когда выскакивал из ресторана, он казался худым и длинным. Приплюснутый нос и шрам на щеке придавали лицу угрюмое выражение. Сжав скулы, глядя прямо перед собой, шел он между двумя конвоирами.

За невысокой — по пояс — каменной оградой по обе стороны базарной площади толпились люди. А за ними — автоматчики, видно, для того, чтоб никого не выпустить, пока все это не кончится. В середине площади, видел Федор, стояли два столба с перекладной вверху. Под перекладной — помост из приставленных друг к другу ящиков. «Все рассчитано. Все подогнано. Немцы же... Вот и ящики эти, наверное, из-под консервов...» Он умышленно думал о самых несущественных вещах, — заполнить бы время, нужное, чтоб все кончилось. Все, что сейчас происходило — гортанные торопливые выкрики офицера, суетолака полицаев, и напряженный шаг конвоиров, и виселица, все это он не воспринимал как свое поражение. «Шпрее» — все-таки дело его рук... Конечно, еще немного, и его лишат жизни. Знал же, на что шел... «Что ни говори, здорово получилось!» — пронеслось в сознании. Не как утешение — он почувствовал свое превосходство над этими суматошливыми людьми, готовившимися его умертвить. А может быть, вдруг испугался, в последнюю минуту придет непрощеная мысль, и все в нем ослабнет, и ужас перед смертью сделает его жалким. «Нет, нет!..» Он даже мотнул головой, будто отчаяние уже коснулось его и он хочет от него отстраниться. «Здорово получилось...» — подумал снова, показалось, что докладывал обкому. А, ни к чему это! Он понимал, что старается заглушить в себе все другие мысли, и это унижало его перед собой. «Теперь — что бояться...» Он даже убыстрил шаг, конвоиры тоже. «Война. И надо быть солдатом». Вслух, наверное, произнес это, потому что конвоиры повернули к нему

головы. В черном костюме, в нарядных туфлях, в кудлатой шапке истопника шел он, твердо переступая ногами.

До помоста осталось несколько метров, и, сам того не замечая, Федор почему-то замедлил движение. Конвоиры, сбившись с ноги, подозрительно взглянули на него и снова взяли с ним шаг. Он уже смотрел не прямо перед собой, а вглядывался в лица тех, кто стоял по обеим сторонам площади.

Но удивительно — ни одного лица, которое бы узнал. Возможно, в такие минуты глаза видят широко, видят все вместе, ничего не выделяя. И, как никогда раньше, почувствовал он неотторжимую и желанную зависимость от мира, от людей, и это было слито в его сознании с существованием сына, жены. Он смотрел направо, смотрел налево и мысленно произносил: «Привет вам, товарищи, привет вам и жизнь. Не хочется мне умирать. Но что поделаеть, так вышло. Вы же знаете, как получилось. И стен от «Шпрее» не осталось. Я люблю вас. Всех. Оставляю вам жену, сына, он совсем крошечный. Они теперь только ваши, и вы в ответе за них, меня ведь уже нет... Они на Урале где-то. Не знаю где, ни одного письма получить не успел. Передайте же им — даже стен от «Шпрее» не осталось...»

Потом повели Олю.

Когда она ступила на примятый снег, резкий свет ударил в глаза. Но она не прикрыла их, лишь чуть опустила ресницы. Как сквозь воду, смутно проступали впереди столбы с перекладиной и, дрожа и ломаясь, плыли, неровные, шаткие, зыбкие. «Эшафот». Подумала так, как в книгах читала, будто к ней это не имело отношения. И виселица, и конвоиры, и даже боль в локтях, оттого, что руки туго стянуты за спиной, существовали отдельно от нее. Она не ощущала ужаса при виде всего этого. «Но это же смерть... Да, да, смерть... Мое будущее — это еще каких-нибудь полчаса...» — дрогнуло сердце. И все равно, не представляла себе, что можно умереть сразу так, вот сейчас. Несколько минут назад в кузове машины в ней еще шевельнулось что-то похожее на страх. Но это был не страх. Может быть, жальость к себе... Страх остался там, в камере...

То, что она видела вокруг, не совпадало с миром, который существовал внутри нее и требовал всю ее без остатка, и она продолжала в нем жить, отгороженная от всего на свете, и там был только Володя. Только лицо Володи, словно маятник, качалось перед ней, и куда бы ни склонила голову — его лицо, его лицо... Так и шли вместе, молча и тесно, и не было одиночества, и ничего не значили ни конвоиры, ни столбы с перекладинами впереди. Она, должно быть, ступила немного в сторону, потому

что ощутила удар прикладом в бедро. Наверное, было больно: удар отдался в висок, но и это не могло отвлечь ее взгляда от лица, которое, как маятник, было всюду — и слева и справа. Помост, казалось ей, находился где-то бесконечно далеко отсюда, куда и не дойти. И она шла, шла. Она глубоко дышала. Раньше почему-то не замечала, что дышит, все время дышит, а сейчас дышала жадно, дышала и думала об этом. И еще она думала, что все на свете можно объяснить и понять все можно, а это — смерть — никак понять нельзя.

«Да, да, это смерть»,— вернулась мысль, на этот раз с утрашающей определенностью. Она переживала главные минуты своей жизни, сознавала она, потом время оборвется, сразу, как гаснет свет, когда поворачивают выключатель. Но, оказывается, ничего особенного в этих минутах... Просто шла она по натоптанному снегу и на снегу видела свою косо лежавшую фиолетовую тень, в глаза били холодные, морозные лучи, на голых тополях вокруг базарной площади чернели вороны, и три веревки, спускавшиеся с перекладины, приближались с каждым шагом. «Вот я иду... Пройду еще немного, вон до помоста. Потом остановлюсь. И — навсегда...» И опять не могла представить себе, что никогда больше никуда не пойдет, не будет двигаться...

Она неопределенно покачала головой, взглянула на конвоиров. Высокие, худощавые, совсем какие-то одинаковые, головы их торчали недвижно, будто тяжелые шары на плечах, глаза, устремленные на нее, белые, бесстрастные, ничего не выражали, словно и не глаза вовсе. Конвоиры вели ее туда, к середине площади, но это было все еще далеко. Там дорога кончалась. Показалось, все дороги кончались там, у перекладины над помостом из каких-то ящиков. Будто это был естественный конец мира, за спиной ничего не было и быть не могло — пустота, наполненная тьмой, и ни воздуха, ни пространства. Даже оглянуться не хотелось. Все в ней притупилось, и, наверное, оттого не было страшно.

Подняв голову, она двигалась навстречу западавшему солнцу. Она ощутила снежинку, упавшую на губы, это неожиданно вернуло ее к жизни, из которой как бы уже ушла. И она испугалась. Но длилось это секунду, две. Только нижняя губа дрожала, чувствовала она, и понимала — это все, что еще осталось от страха, и пыталась остановить прыгавшую губу, но ничего не получалось. Ведь она уже не боится, она уже не боится, ничего не боится, почему же трясется губа? Она даже удивлялась этому и, пока шла, удивлялась. Когда смерть неизбежна, высшее счастье, наверное, быть свободным от всего, что делает человека слабым перед смертью. И Оля сейчас по-настоящему поняла

это. Только б еще вот полчаса мужество не покинуло ее. «Даже меньше, чем полчаса...» Но это же целая жизнь — полчаса. Подумалось, что когда-нибудь она вернется сюда, вот такая же... Нет, она не могла представить себе, что человек может уйти бесследно.

Еще два-три шага — и помост. Она почувствовала: сделать эти два-три шага — самое трудное, что было за все ее девятнадцать лет. С голых сукастых деревьев, высаженных вдоль тротуара, взлетели воробьи. Будто камушки, кинутые с силой и ставшие живыми и стремительными, воробьи догнали ее. Они летели совсем низко, и Оле даже показалось, что увидела острый и черный глаз переднего воробья, похожий на точку. Протыкнув почти над головой, воробьи взяли чуть выше, порваньялись со столбами с перекладиной, как бы ударились об них и полетели дальше.

Значит, жизнь то, что было? А теперь? После жизни — что? Вот этого постичь не могла. Даже сейчас не могла проникнуться мыслью, что это конец... Она не представляла себе конца, как и начала не видела, хоть и напрягала память, — вот в школу пошла, а до того в детский сад бегала, а еще раньше на руках у бабки толкалась и за волосы ее дергала, а что было еще раньше, не помнила — что-то же было!..

Ну, конечно, было, было!.. Она удивилась простой мысли о давнем и таком пустячном — школа, бабка... «Вчера было, позавчера было, неделю, месяц назад было... Вот-вот, об этом думать, вот что существенно... Ой и мерзавцы, мерзавцы гитлеровцы... Как мы их! Ой, Федор, отец мой, спасибо, что поверил в меня, поверил мне, пустой девчонке, и дал такое большое и нужное поручение. И как же мы их, Федор, Федор!..» Она чуть не закричала от охватившего ее волнения. В эти минуты она, собственно, и поняла себя, по-настоящему узнала. И, просветленная, сделала еще шаг. Шаг вперед, последний. Она увидела след этого шага — рваную продолговатую ямку в сухом, искрившемся, словно живом, снегу.

В сердце такая тишина, будто и не билось вовсе. Наверное, даже улыбалась. Она поняла это потому, что конвоиры, подхватив ее за плечи, чтоб могла взобраться на помост, растерянно, даже испуганно взглянули на нее. Быстрым движением подтолкнули ее, но она и не упиралась. Подогнув колено, ступила на ящик. Ящик тонко скрипнул, и, поставив вторую ногу, ступнями нажала раз, другой, как бы проверяла, выдержит ли. Она повернулась лицом к людям, толпившимся по ту сторону базарной площади. У плеч болталась веревка с петлей. Чувство какой-то торжественности охватило ее вдруг. Может быть, потому, что происходило это в городе, где родилась и выросла, на гла-

зах людей, которых знала, и многие, конечно, знали ее, и были они тут, рядом, вместе с нею.

Оля оглядела окружавший ее мир: снежный сквер в тускло-розовом свете заходящего солнца, пустые базарные рундуки — это все, что от него осталось. А еще немного, и этого не будет. Вечер уже не наступит, и ночь не придет, и нового дня не будет. Ничего не будет... А что же будет? Должно же что-то быть... Мысль эта не оставляла ее. «Вот и последний час мой»,— говорил ее взгляд. Последнего часа не бывает, она уже знает это. Бывает последняя минута, и это была самая долгая минута в ее жизни. Хотелось запомнить этот сквер, и все остальное, и до боли в глазах смотрела, смотрела. «Неужели доведется когда-нибудь вспомнить это?» Ведь все сейчас оборвется, навсегда...

Она смотрела в глубину, далеко, на заснеженные крыши, на голые, недвижные деревья, на высокие старинные башни за ними, смотрела так, словно все это последует за ней куда-то, куда и вообразить не могла. Колющая быстрая боль тронула сердце и ушла, может быть, ее заглушило что-то такое, что сильнее боли, и потому она перестала ее ощущать? Она повернула голову — на помосте, в шаге от нее, стоял Федор. Она увидела его лицо словно в багровой татуировке — щеки в ссадинах, кровоподтеках, круто проступали разбитые скулы. Со связанными назад руками стоял он, твердый, невозмутимый. «Как памятник»,— подумалось ей. Она улыбнулась ему. Теперь она знала, что улыбалась...

Из кузова выволокли Мефодия.

Он никак не мог прочно опереться на сдвинутый с места протез и, чертыхаясь, трудно двинулся к помосту. Лицо его, обросшее щетиной, потемнело, словно мрак камеры оставил на нем свой след. Только на непокрытой голове, чуть позолоченной заходившим солнцем, еще более рыжими казались свалыющиеся волосы. Потертое демисезонное пальто с оторванными пуговицами распахнулось, и видна была серая рубашка, спереди выдержанная из-за поясного ремня и обнажившая голое тело, удивительно белое и живое.

Он шел медленно, тяжело припадая на деревяшку. Конвоир поторапливал его прикладом автомата.

— Шнеллер...

— Да постой, сволочь, успеешь,— остановился Мефодий, переводя дыхание.— Никуда не убегу. Видишь?..— кивком показал на протез.

Подбежал полицей, толстый, плечистый, щекастый, в шапке-

ушанке, низко посаженной на лоб, в бушлате, на рукаве повязка со свастикой в круге.

— Ну-ка! Долго стоять будешь?

— Ага.— Мефодий двинулся дальше.

Полицай зашагал сзади, подталкивая его в спину.

— А ты, сволочь, отойди,— огрызнулся Мефодий.— Понял, нет? Пусть лучше немец ведет...

— Поразговаривай, тварь большевицкая...— Полицай сдвинул ушанку на затылок, и Мефодий, оглянувшись, увидел круглые злые глаза.

К помосту приблизился офицер в шинели, плотно пригнанной, словно кожа на молодом теле, с румяным, должно быть, от мороза, лицом. Он отдавал приказания. Мефодий повернул к нему свой покривленный нос:

— Эй, Гитлер. Покурить дозволяй.

Офицеру перевели. Он ничего не ответил, продолжал давать распоряжения.

— Курить захотел!..— буркнул насмешливо полицай.— У большевиков не накурился?..

— И где ж ты, сволочь такая, взялся? — сказал в сердцах Мефодий.— Мать твою псу дала, вот ты и получил.

— Ах, туды ж твою...— рассвирепел полицай и всей силой толкнул Мефодия в спину, он покачнулся и едва удержался на деревяшке.

— Сволочь-от...— прохрипел Мефодий, глядя то на полицая, то на конвоиров.— Гитлер швайн! — крикнул.— Понял, нет?

Конвоир, тот, что слева, носком сапога ударил Мефодия ниже живота. Боль, словно обжигающий ток, завладела всем телом, и у Мефодия зашло дыхание. Он растянулся на снегу, и только тогда трудный стон вырвался наружу.

Мефодия подхватили под мышки. Связанные руки с конвульсивно скрючившимися пальцами неуклюже торчали за спиной. Он шел дальше. Одна нога неловко ступала вперед, а деревяшка тянулась вслед, оставляя в снегу кривую бороздку.

— Гитлер капут! — озлобась, крикнул Мефодий еще громче. Он осклабился, снова остановился, как бы вслушиваясь в свои слова.— Капут Гитлер! Капут! Капут! — замотал головой.

Конвоир, второй, покрасневший от негодования, сильно двинул Мефодия в челюсть. Изо рта хлынула кровь, и снег в этом месте сделался темно-вишневым. Голова Мефодия тяжело поникла, и он почувствовал, что теряет сознание. «Еще подумают, сволочи, что испугался... что боюсь... что...» Он медленно, болезненно втянул в себя воздух. Холодный воздух заколол в ноздрях, поскреб в горле, и это вывело Мефодия из обморочного состояния.

Он опять увидел перед собой офицера. Тот что-то возбужденно говорил конвоирам, но глаза были презрительно устремлены на Мефодия.

— Ты, немец, хлеб мой ешь... Силой взял. Понял, нет? — громко, во весь голос произнес Мефодий. — А теперь думаешь, жизнь мою берешь? Хлеб — смог. А жизнь — нет. Она где моя жизнь остается! — головой повел, показывая на толпу по обе стороны площади.

Офицеру перевели.

— Шнеллер! — нетерпеливый жест офицера.

Солдаты и полицаи заторопились у помоста, видно, доделывая что-то.

А Мефодий уже стоял на помосте и, тоже торопясь, кричал, мотая головой:

— Вон сколько народу согнали! Запугать? Пусть посмотрят и поостерегутся? Не запугаете! Нет! Нет, говорю вам! Все они соберутся, когда сюда поведут Гитлера с вами. От они смотреть будут! И от будет им весело! Они петь будут! А сейчас — видите — молчат...

— Шнел-леррр!

— Ага, спеши, немец, — еще успел прокричать Мефодий. — Спеши, холодно стало. За спиной солнце заходит. Понял, нет? Но солнце знает, здесь остались люди. Здесь остались люди, и оно вернется...

Мефодий повис на перекладине. Голова его бессильно свалилась на плечо. Деревяшка совсем отошла от культи, отстегнулась и упала в снег, и только один сапог с круглым, задраным кверху носком болтался и рядом с ним пустая штанина. В другом конце помоста ветер шевелил на голове Федора рассыпавшиеся волосы, слетевшая шапка лежала внизу. А в середине, схваченная петлей за шею, качалась Оля. Ветер толкнул ее в спину, она медленно пошла вперед, обе ноги двигались вместе, друг от друга не отделяясь. Потом отошла назад, и опять вперед. Назад-вперед, назад-вперед, и ноги вместе...

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Дорога в подпольный обком	3
Человек из Гренады	9
В двенадцать часов пополудни	33
Солнце еще вернется	44



Янов Евсеевич Цветов
ЧЕЛОВЕК ИЗ ГРЕНАДЫ

Редактор — **П. А. КРАВЧЕНКО**

Технический редактор **Я. М. Борисов**

Сдано в набор 12/II 1971 г. А 00540. Подписано к печати 19/III 1971 г.
Формат бум. 70 × 108¹/₃₂. Объем 2,80 условн. печ л. 3,80 учетно-изд. л.
Тираж 100 000. Изд. № 671. Зак. № 453.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 3-ПРОЦЕНТНОГО ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА ЯВЛЯЮТСЯ УДОБНОЙ И ВЫГОДНОЙ ФОРМОЙ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ.

По облигациям займа выплачивается доход в виде выигрышей.

Ежегодно проводится восемь тиражей выигрышей: 15 февраля, 30 марта, 15 мая, 30 июня, 15 августа, 30 сентября, 15 ноября и 30 декабря.

В тиражах выигрышей на один разряд займа разыгрывается следующее количество выигрышей:

Размер выигрыша на двадцатирублевою облигацию (включая нарицательную стоимость облигации)	Разыгрывается			
	В одном тираже		Всего за год в 8 тиражах	
	количество выигрышей	сумма выигрышей (рублей)	количество выигрышей	сумма выигрышей (рублей)
5 000 рублей	2	10 000	16	80 000
2 500 рублей	5	12 500	40	100 000
1 000 рублей	20	20 000	160	160 000
500 рублей	109	54 500	872	436 000
100 рублей	750	75 000	6 000	600 000
40 рублей	8 514	340 560	68 112	2 724 480
Всего:	9 400	512 560	75 200	4 100 480

Вероятность выигрышей по облигациям займа увеличивается с каждым тиражом, поскольку количество выигрышей, разыгрываемых в тиражах, остается неизменным до конца срока займа, а выигравшие облигации погашаются при выплате выигрышей и в дальнейших тиражах не участвуют.

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО ПРОДАЮТСЯ И ПОКУПАЮТСЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ.



Управление гострудсберкасс
и госкредита РСФСР